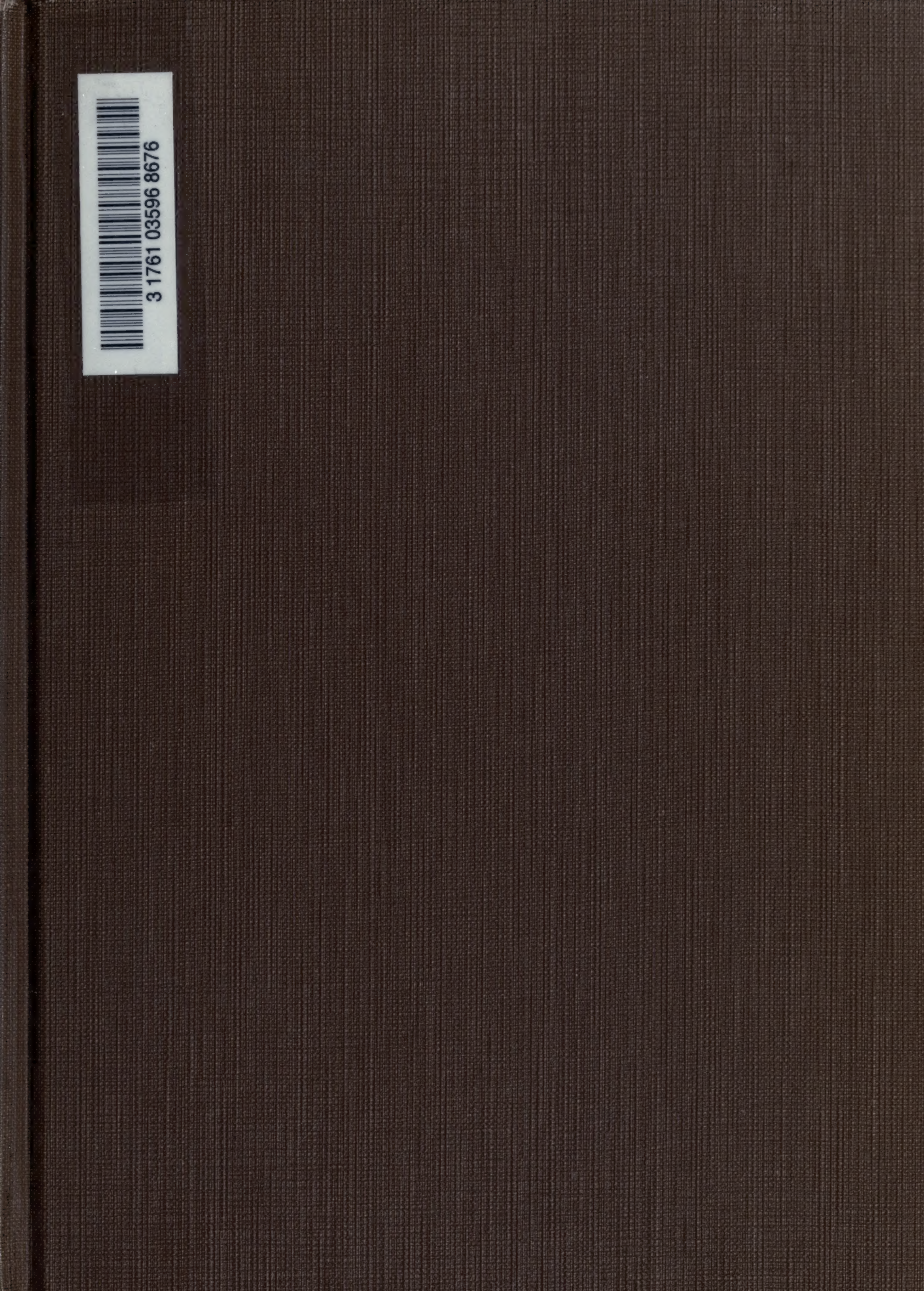

3 1761 03596 8676

НИК. СУХАНОВ

ЗАПИСКИ О РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ШЕСТАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1923

Типография Шпамера в Лейпциге

ΚΤΗΜΑ
ΕΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

НИК. СУХАНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1 9 2 3

КНИГА ШЕСТАЯ

РАЗЛОЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ

1 сентября — 22 октября
1917 г.

Период от ликвидации корниловщины до победы советской власти (1 сентября по 1 ноября 1917) был первоначально описан мною в одной книге. В процессе печатания пришлось эту — шестую — книгу, в виду слишком большого ее об'ема, разделить пополам. По содержанию, это вполне возможно и удобно. В седьмую книгу выделен «октябрьский переворот» и его «артиллерийская подготовка». Но, к сожалению, не в пример предыдущим книгам, здесь не вполне выдержана хронология: подготовка к «октябрю» описана мной, начиная с первых чисел месяца, тогда как в настоящей (шестой) книге «предпарламент» описан до самого начала восстания. Для читателей, имеющих намерение прочитать все написанное мной — от корниловщины до конца — такое расположение материала, конечно не представляет никаких неудобств. Для тех же, кто интересуется специально октябрьским переворотом, выделение седьмой книги имеет свои выгоды.

19 сентября 1922 г.

АВТОР.

1. ПОСЛЕ КОРНИЛОВЩИНЫ

Поверхность и недра. — На другой день. — Мобилизация «низов». — Порождения корниловщины. — Избиения офицеров в Выборге. — Министры снова аппеллируют к Ц. И. К. — Ц. И. К. уже бессилен. — Урок Троцкого. — В петерб. совете. — «Кризис президиума». — Поражение звездной палаты. — Tu l'a voulu! ... — Перерождение Смольного. — Рост большевизма. — Сдвиг советского большинства. — У эсеров. — У меньшевиков. — Бесплодные потуги Дана. — «Самая глупая газета». — Среди мартовцев. — Кризис меньшевизма. — «Компромисс» Ленина и «программа» Зиновьева. — Брожение в Ц. И. К. — Слова и дела верховного советского органа. — Дело о роспуске военно-революционных комитетов. — «Рабочая милиция». — Кто же спасет буржуазию?

Кто будет писать историю, а не мемуары, подобно мне, — тот, изучая после-корниловский период, должен будет устремить свое главное внимание на процессы, происходившие в недрах народных масс. Остальное было эфемерно, преходяще и бесследно. Остальное было полно «драматизма», но лишено всякого исторического значения. То-есть, точнее, — все остальное было не больше, как рамкой, фоном, на котором развивалась революция. Притом рамка эта была не нова. Фон этот был все тот же старый фон капитуляций Смольного и контр-революции Зимнего. «Работа» правительства и Ц. И. К. была «совокупностью обстоятельств», сопутствующих и,

если угодно, содействующих бурному движению к «октябрю». Но эти сопутствующие обстоятельства уже не были определяющим, решающим фактором.

Судьба революции была решена, и ход ее был определен еще до корниловского покушения. Корниловщина дала ей могучий толчок вперед. А жалкое барахтанье «господствующих» капитуляров и реакционеров лишь создавало «обстановку» для основного исторического процесса — процесса движения народных масс.

Весть о выступлении буржуазии глубоко всколыхнула поверхность и недра России. Вся организованная демократия стала на ноги. Вся советская Россия ощетинилась и стала под ружье — не только в переносном, но сплошь и рядом в буквальном смысле. Сотни тысяч и миллионы рабочих, солдат и крестьян, втянутых в революцию, в дело активного устроения собственной судьбы, ополчились против классового врага — для обороны и для нападения...

После корниловщины их воля к борьбе, к решительному бою — росла неудержимо не по дням, а по часам. Тут был и классовый инстинкт, и небольшая доля классового сознания, и идейно-организационное воздействие гигантски ростущих большевиков; больше же тут была усталость от войны и других тягот, разочарование в бесплодности революции, доселе ничего не давшей народным массам; озлобление против господ и богачей-правителей; жажда пустить в ход накопленную силу и использовать приобретенную власть. Но так или иначе, непосредственно вслед за корниловской встряской, настроение окрепло чрезвычайно; и, в соответствии с ним, лихорадочным темпом началась

постройка в боевые колонны — против коалиции и буржуазии, против Керенского и соглашателей, против официальной власти и ее верных слуг, изменников рабочего класса.

Впрочем, здесь надо соблюдать перспективу, последовательность, градацию. В самые дни корниловщины, как мы знаем, ведь был восстановлен единый демократический фронт. Пока мятеж не был ликвидирован, движение направлялось, главным образом, против корниловских («безответственных») групп; по отношению к центральному советскому органу, дискредитированному и разложившемуся, всегда демонстрировалась полная солидарность; а иногда выражались чувства лойяльности и по адресу «законной власти»...

Толчок справа налево дал себя знать, главным образом, на другой день после корниловщины. Вскрылась роль Зимнего; «социал-предатели» из Смольного не замедлили разорвать рабоче-крестьянскую, советскую коалицию с буржуазией. И тут, «на другой день», обнаружилась вся непроходимая пропасть между двумя крыльями Совета, — не говоря уже о сферах Зимнего.

Я упоминал, что уже по одним сотням резолюций и телеграмм со всех концов России можно судить, как реагировали на корниловщину столица и провинция. Но в «Известиях» печаталась только небольшая часть такого рода документов. Документы же далеко не обязательно появлялись на свет в результате советских постановлений и бесчисленных народных собраний на заводах, в казармах и на площадях... Уже одни столбцы «Известий», в дни после корниловщины, говорят о том, что подлинная демократия вооружилась до зубов и го-

това к бою: сейчас против корниловцев, завтра — против их пособников и попустителей. Рабоче-крестьянские массы спешно мобилизовались, становясь под знамена большевиков.

Но не только в этой мобилизации проявились результаты корниловского похода. Огромный сдвиг влево произошел по всей линии и выразился в самых разнообразных формах. Нам надо остановиться на нескольких фактах, способных иллюстрировать после-корниловские дни.

* * *

Еще в разгар корниловщины, 30-го августа, как только весть о покушении буржуазии распространилась по стране, события нашли себе отклик среди балтийских матросов и воинских частей, расположенных в Финляндии. Этот «отклик» был очень резким и вылился в безобразные формы.

Началось в Выборге — с избиения генералов и офицеров рассвирепевшими и впавшими в панику матросско-солдатскими толпами. Офицеров, избивая, бросали с моста в воду и добивали в воде. Убито было в Выборге человек 15. Затем самосуд распространился и на другие города, Гельсингфорс, Або, а также и на некоторые суда, стоявшие в Финляндии...

Немедленно в дело вступились власти: Керенский издал громоподобный приказ, Ц. И. К. выпустил негодующее воззвание, но главным образом воздействие оказали местные армейские организации. Самосуды были локализированы в Финляндии и быстро прекращены. Всего, насколько я могу учесть по газетным сведениям, заплатили жизнью за кор-

ниловщину, не больше 25 офицеров. Но все офицерство в это время продолжало жить как на действующем вулкане. И продолжалось такое положение — по крайней мере в Финляндии — недели две.

Ц. И. К. разослал эмиссаров для увещевания. Теперь звездная палата уже не стремилась посылать своих доверенных лиц: они уже давно были дискредитированы и совершенно бесполезны. Теперь звездная палата стремилась привлечь для этой службы именно оппозиционные, новые элементы, а особенно большевиков. Но большевики не проявляли к тому никакой охоты. И вообще дело сильно осложнялось тем, что местные армейские организации, где большевики играли огромную роль, не то что попустительствовали, а без достаточного натиска боролись с разыгравшейся стихией... Эмиссары звездной палаты состояли, главным образом, из левых не-большевистских элементов. В частности, в Гельсингфорс был командирован Н. Д. Соколов, который, как мы знаем, уже был раз избит солдатской толпой при выполнении подобной же миссии.

В заседание Ц. И. К. 9-го сентября (происходившее за немноголюдством в зале «бюро») явились два новых министра, военный и морской, Верховский и Вердеревский. О выступлении первого речь впереди. Второй же пришел апеллировать к совету специально о взаимоотношениях между флотской миссией и офицерами.

Положение было не ново. Ныне Зимний дворец еще меньше, чем некогда Мариинский, мог разрешить проблему «доверия» солдат к командному составу. Попрежнему тут мог помочь только Совет,

к которому прибег Вердеревский, как некогда прибегал Гучков. Благодаря Совету и его армейским органам, отношения верхов и низов в армии за последние месяцы имели, как-ни-как, такие формы, какие допускали сотрудничество на поле битвы. Корниловщина вновь сорвала достигнутый статус. Если и можно было надеяться на его восстановление, то исключительно усилиями Совета.

Однако, дело в том, что удельный вес Совета был теперь совсем не тот. Неограниченная власть тех групп, которые были готовы беззаветно служить интересам буржуазии и ее «отечества», была промотана почти без остатка. Теперь решающей силой и монополистами влияния среди масс были большевики. Теперь приходилось апеллировать к ним. Но это было рискованным предприятием: ведь большевиками были попрежнему наполнены тюрьмы. На апелляцию прямо к большевикам не рискнули бы даже самые «либеральные» представители Зимнего.

Но не только не рискнули бы: дело в том, что ни одной голове Зимнего и недоступна была та простая мысль, что большевики это не кучка злоумышленных слуг Вильгельма, а источник движения необ'ятных народных масс и решающая сила в революции... Большевики были еще бессильны в верховном советском органе, в Ц. И. К., который был создан на июньском с'езде. Это обстоятельство создавало иллюзию даже у мудрых смольных мамелюков, что существует «вся демократия», во-первых, и большевики, во-вторых.

Но это была совсем дешевая иллюзия. Ц. И. К., подобно Вр. Правительству, уже почти висел в воздухе и располагал силой только в едином фронте с большевиками. Как только, по миновании опас-

ности, большинство Ц. И. К. разорвало этот фронт для привычных об'ятий с цензовиками, так в тот же час он вернулся к своему обычному состоянию: он стал не более, как полуразложившимся собранием неразумных мещан и бесплодных политиков, копошащихся an und für sich...

Впрочем, даже большинство Ц. И. К. уже было теперь не то: корниловщина многих научила многому. Военно-революционный комитет был хорошей школой и создал такой «прецедент», который сильно расшатал основы и нарушил традиции. Это мы воочию увидим дальше. Но во всяком случае советские лидеры, проводя свою прежнюю «линию», спотыкались не столько на непослушание своего большинства, сколько на бессилие всего верховного советского органа в целом: реальная сила уплыла к большевикам. И вот, при таких условиях, что получалось из попыток Зимнего снова и снова, в трудном положении апеллировать к Смольному.

Адмирал Вердеревский, достаточно умный, тактичный и испытанный в демократизме человек, произнес искреннюю и даже трогательную жалобу на невыносимое для него положение дел. Он отметил возвращение к мартовской эпохе войны между солдатами и офицерами. Казалось, она изжита. Но министр признает, что ныне корниловщина вновь подвела под нее прочный фундамент. Министр, однако, настаивал на полной лойяльности командного состава. С своей стороны, он торжественно обещал не допускать никаких покушений на матросские организации. Но требовал от Ц. И. К. помощи в деле установления «таких отношений во флоте, без которых жить нельзя». «Скажите ваше власт-

ное слово, — говорил министр, — помогите и против безответственной, лишенной всякого идейного содержания агитации, направленной на углубление недоверия к офицерскому составу. Только опираясь на демократию, я могу вести свою работу во флоте. Только в тесном единении с ней я буду работать и когда не увижу доверия, я покину флот».

Эти речи держал, несомненно, лучший представитель Зимнего, вызывая шумные аплодисменты советского большинства. И он искал «властного» слова звездной палаты, кивая на «безответственных» большевиков. Тут явно не было надлежащего понимания дела; и лучший из министров не замедлил получить урок...

После долгих прений, не приведших ни к чему, кроме посылки делегаций, стали формировать делегацию в Гельсингфорс. И правые настаивали, чтобы в нее вошли не только большевики вообще, но вошел, в частности, Троцкий, который был тут же в заседании.

Троцкого освободили из тюрьмы 4-го сентября, так же внезапно и беспричинно, как и арестовали 23-го июля. Юстиция Керенского не постыдилась пред'явить Троцкому в качестве обвинительного материала известный нам документ провокатора Ермоленко, послуживший основанием и для обвинения Ленина в государственной измене и для грязной клеветы против всех большевиков. Газеты сообщали одновременно об освобождении Троцкого и Пуришкевича, арестованного в корниловские дни. Но Пуришкевич вышел из тюрьмы чистый, как голубь, а Троцкого присоединили к «делу Дрейфуса» и взяли с него залог в три тысячи рублей... Троцкий немедленно вернулся на свой пост — уже в

качестве члена единой с Лениным партии: мы знаем, что полулегальный июльский с'езд большевиков вотировал об'единение с бывшими «междурайонцами»... И вот Троцкому то и пришлось дать маленький урок политики лучшему министру «директории». Троцкий решительно отклонил свою кандидатуру в состав делегации и мотивировал это так:

— Прежде всего, — сказал он, — мы решительно отвергаем ту форму сотрудничества с правительством, которую защищал Церетели. Совершенно независимо от революционных организаций правительство ведет в корне ложную, противонародную и бесконтрольную политику; а когда эта политика упирается в тупик или приводит к катастрофе, на революционные организации возлагается черная работа по улажению неизбежных последствий. Ненормальность и фальшь взаимоотношений между властью и революционными организациями ярче всего раскрывается как раз в данном случае. Адмирал Вердеревский, который явился к нам за поддержкой, недавно привлекался, как известно, к судебной ответственности. Вместе с тем, были арестованы по тому же делу матросы. В то время, как адмирал стал министром, арестованные матросы остаются под следствием, а Дыбенко, председатель Центральн. К-та Балт. Флота, пребывает в «Крестах». Какое представление об официальном правосудии может быть у матросов в виду таких фактов? Какое доверие к нынешней власти? И какое право имеем мы выступать с представителями нынешнего правительства и нести за них ответственность перед массой?..

— Смотрите дальше. Вы хотите, чтобы представитель нашей партии, в виду ее большого влияния во

флоте, вступил в вашу делегацию. Одной из задач этой делегации, как вы формулируете, является расследование в составе гарнизонов «темных сил», то-есть провокаторов и шпионов. Разумеется, если там имеются шпионы, то их надо изловить и устранить. Но вы закрываете глаза на то, что агенты того самого правительства, на помощь которому вы сейчас призываете нашу партию, возвели на вождей и работников этой партии самые гнусные из всех возможных обвинений — в государственной измене, в сообщничестве с германским кайзером, в работе на пользу немецкого империализма... В борьбе с самосудами мы идем своими путями. Мы считаем эти самосуды глубоко вредными, дезорганизующими и деморализующими с точки зрения самого революционного самосознания солдатской и матросской массы. С самосудами мы ведем борьбу. Эту борьбу мы ведем не рука об руку с прокурорами и контр-разведчиками, а как революционная партия, которая организует, убеждает и воспитывает...

Немножко жаль, что этот блестящий урок адм. Вердеревский получил только при помощи печати. Как ни важно было ходатайство, с которым явились министры в советские сферы, но все же их достоинство не позволяло им слишком долго задерживаться в Смольном. Произнеся свои речи и пожав аплодисменты, они сочли свою миссию поконченной, свое дело переданным в надежные руки и — отбыли в Зимний дворец.

А насчет Троцкого, кстати замечу. Тогда, в сентябре 1917 года, он выразил свое резко отрицательное отношение к самосудам, как к явлению «глубоко вредному» с точки зрения революционного самосознания. Впоследствии же, в приватном едко-

полемическом разговоре со мной, среди издевательств над моими «либеральными» взглядами, он заявил примерно так:

— Вот когда, после корниловщины, раз'яренные солдаты взялись крушить направо и налево контрреволюционный офицерский сброд, вот это было проявлением настоящего революционизма и классового сознания!

Я только отмахивался от этого настоящего революционизма. Для меня в 1920-м году, как и в 1917-м, стихия народной паники и мести не имела ничего общего ни с революцией, ни с каким-либо самосознанием. Но Троцкий? Уклонился ли он от своей собственной истины в 1917 году, будучи тогда в меньшинстве и говоря публично? Или истина уклонилась от Троцкого в 1920-м году, когда Троцкий был правителем, когда он уже нес на своих плечах кровавую полосу террора и бесплодно искал оправдания своим былым ошибкам?... О, тут сомнений быть не может! В 1917 году Троцкий не кривил душой и возвещал бесспорную истину. Тогда Троцкий и его товарищи были бесспорно блестящими, замечательными революционерами, которые и не подозревали, в каких беспомощных и сомнительных «государственных людей» предстоит им превратиться...

Того же 9-го сентября резолюция о самосудах, предложенная большевиками была принята в петербургском совете. Эта резолюция резко осуждала самосуды и призывала солдатские массы воздерживаться от самочинных насилий, подрывающих дело революции. Во время обсуждения произошел скандал, так как большевистский докладчик, Лашевич, пытался вскрыть истинную роль эсера Керенского

в деле Корнилова. Да и резолюция, в своей мотивировке, направлена больше против Зимнего и его политики, чем против разгулявшейся солдатской стихии. Но это не помешало ее принятию...

Вообще, петербургский совет — это был не Ц. И. К. Это был уже не тот петербургский совет, с которым мы имели дело на протяжении чуть ли не целого полугодия. Нам надо посмотреть, что происходило в эти дни в этом старейшем учреждении революции. Толчок корниловщины здесь отразился очень сильно и характерно.

* * *

Я упоминал в своем месте, что в самую корниловщину заседание петербургского совета состоялось 31-го августа. Но я не остановился на этом заседании, так как был занят другими темами. К этому заседанию необходимо теперь вернуться: ибо, так или иначе, оно начало новую эру в истории революции.

Дело обстояло очень просто и с виду нисколько не импозантно. Начать с того, что среди волнений и хлопот в районах на заседание явилось ничтожное число депутатов, не больше трети. Да и самый акт, совершенный Советом, был чрезвычайно далек от какого-нибудь решительного, героического, «исторического» действия. Просто на-просто была принята резолюция — общего характера... Но дело в том, что резолюция эта была предложена большевиками и, по словам Керенского, «заключала в себе программу переворота 25-го октября»... Содержание ее нам уже известно. Это та самая ре-

золюция, которая в тот же день была внесена (но, конечно, не была принята) в Ц. И. К. Я частью излагал, частью цитировал ее выше, отметив, что большевистский центральный комитет после корниловщины разослал ее в циркулярном порядке по градам и весям на предмет принятия и популяризации.

Настоящего большевистского большинства в петербургском совете еще не было. Но оно уже почти было. Большевистские предложения небольшой важности уже принимались в совете не раз, — оставляя в стороне известную нам особую историю о смертной казни. В зависимости от того или иного наличного состава депутатов, большевики сейчас могли провести и желательные им важные решения. Это и случилось в ночь на 1-е сентября...

Принятие програмной резолюции большевиков поразило звездную палату в самое сердце. Петербургский совет — это как-ни-как авторитетный орган для петербургских масс, тех самых, которые подняли июльское восстание, а завтра могли поднять и сентябрьское. Когда совет был против масс, когда рабочие или хотя бы солдатские депутаты были преторианцами советских лидеров, — «линия совета» еще кое-как скрипела, а огромные массы удавалось обуздывать.

Но как же быть теперь, когда петербургский совет был с массами, против звездной палаты? Ведь именно этого, как мы знаем, и не доставало июльскому восстанию. Ведь столичные массы всегда решали судьбы революции — и в 1789-м и в 1848-м, и у нас в феврале. И они же решат дело в сентябре или октябре, — если будут действовать вместе со своей соб-

ственной организацией, а не против нее...

Звездной палате было от чего придти в величайшее беспокойство. Правда, для всех, от мала до велика, уже давным давно было очевидно, что так должно было случиться не нынче, так завтра. Вопрос был только в сроке и притом очень небольшом. Ведь еще в мае большевики начали господствовать в рабочей секции... Однако, это было очевидно для всех, но не для звездной палаты, доселе упивавшейся сознанием, что она выражает волю «всей демократии».

«Группа президиума» ахнула не только от полученного удара, но и от его внезапности. И немедленно решилась на радикальные меры. Какие? Единственные, какие ей диктовало ее фактическое бессилие, с одной стороны, и наивное ослепление власть имущих — с другой.

«Группа президиума» решила подать в отставку... Формальных оснований для этого не было никаких. Президиум совета никто никогда не уполномачивал быть ответственным исполнительным органом, долженствующим проводить определенную линию политики. Правда, фактически президиум присвоил себе полномочия действовать от имени Совета — как в исполнительной, так и в «законодательной» сферах. Но формально это был не более, как орган внутреннего распорядка, ни мало не призванный ни проводить политику, ни отвечать за нее. Звездная палата, составлявшая (вместе с Керенским) президиум петербургского совета, брала на себя слишком много, принимая себя за Исп. Комитет.

Но она брала на себя и еще значительно больше. Вступая на путь бойкота, создавая президентский

кризис, она рассчитывала, что без нее Совет никак не справится с самим собою и со своими задачами. Она рассчитывала на взрыв новой кон'юнктуры и на дальнейшее приведение к покорности нового большинства. Не знаю, какие пути для этого мерещились почтенным деятелям, но что такого рода заблуждения свойственны «правителям» — это известно всем.

«Группа президиума» решила подать в отставку, убежденная, что большевики «править» не сумеют и за это дело не возьмутся. Большевики действительно не форсировали перевыборов — ни президиума, ни Исп. Комитета. А звездная палата, приняв решение, однако, не особенно спешила с ним, так как дело было все же сомнительное.

5-го сентября состоялось заседание петербургского Исп. Комитета, где большевики подняли вопрос об его перевыборах. Мы знаем, что на этом целые полгода настаивали именно меньшевики и эсеры, так как Исп. Комитет был значительно левее своего Совета. Но сейчас уже было наоборот, и советский блок решительно возражал против перевыборов — впредь до окончательного обновления состава всего Совета. Эти господа все еще надеялись, что петербургские рабочие будут с ними... Большевики указывали на то, что с 1-го сего сентября петербургский совет определенно вступил на новый путь и требует нового исполнительного органа для проведения новой политики. И вот тут, в прениях, в ответ на требование перевыборов Исп. Комитета, Дан об'явил о решении старого президиума выйти в отставку. Дан пояснил при этом, что решение состоялось немедленно после вотума, знаменовавшего перемену политики; но

«ближайшие друзья» настаивали, чтобы с исполнением повременить; к тому же ведь заседание Совета, на котором присутствовало и голосовало не больше 500 человек, пожалуй, и нельзя считать законным. Однако, вопрос о перевыборах президиума все же будет поставлен в ближайшем заседании, 9-го сентября... Все это «было принято к сведению».

* * *

Газеты, не только социалические, но и буржуазные, хорошо оценили значение этих событий в Смольном. Смысл превращения петербургского совета из меньшевистско-эсеровского в большевистский, смысл превращения его из главного орудия защиты буржуазии в цитатель борьбы с нею был вполне доступен разуму всякого обывателя. Газеты много возились с отставкой президиума и подготовляли «общественное мнение» к заседанию 9-го сентября.

Я очень хорошо помню это заседание. Оно открылось, под председательством Чхеидзе, в большом зале Смольного, часов около 8. Собрание было на этот раз довольно многолюдным; к этому большому дню все фракции усиленно созывали своих людей; налицо было примерно 1000 человек... Чхеидзе, открывая заседание, официально об'явил об отставке президиума — в результате принятия советом «резолюции, отвергающей политику, которой все время держался президиум и большинство совета»... Фракции немедленно продемонстрировали, что они хорошо приготовились к этому заявлению.

От имени большевиков выступил Каменев. Со снисходительной тактичностью победителя он под-

черкнул, что прежнюю тактику советов, коалицию с буржуазией, отвергает не принятая резолюция, а самый ход вещей, корниловский заговор, который вскрыл контр-революционность кадетов. От имени своей фракции он предлагает избрать президиум на началах пропорциональности; и при этом уже без снисхождения добавляет: если эсеры и меньшевики признавали коалицию с буржуазией в правительстве, то я думаю они согласятся на коалицию и с большевиками в президиуме.

Предложение было в полной мере разумно и корректно. К нему немедленно присоединился не только Мартов, но и представитель «трудовиков»... В самом деле, читатель, может быть, помнит, как варварски решал дело о президиуме бывший правящий советский блок: вопреки своим крикам о демократизме, вопреки всей существующей парламентской буржуазной практике, меньшевики и эсеры не только не пускали в президиум никого из оппозиции, но и в крайне грубой форме отвергали покушения на «однородность» своей власти в Совете. Соглашаясь быть в меньшинстве в буржуазном правительстве, они решительно отказывались быть даже в большинстве в советском распорядительном органе. «Лойяльность» победителей-большевиков была бы, при таких условиях, пожалуй, необ'яснима, если бы не предположить, что они еще чуть-чуть побаивались «полноты власти», еще не раскачавшись для нее и лишь постепенно входя в новое положение. Впрочем, и новое большинство было еще сомнительно.

Спекулируя именно на это и рассчитывая на взрыв, президиум был совсем не склонен тихо и мирно решить вопрос дополнительными вы-

борами в президиум от оппозиционных фракций. Звездная палата решила рискнуть и пустила в ход своих присных. От имени эсеров было сделано предложение — не принимать отставки президиума; пусть он будет пропорциональным, но только **после перевыборов всего совета**.

От имени меньшевиков Богданов взял быка за рога: вопрос, заявил он, поставлен не о технической организации президиума, а о политической линии совета; принятие программной большевистской резолюции означало осуждение всей тактики совета; если совет одобряет прежнюю политику президиума в ее целом, то пусть он не примет отставки; это и надо поставить на голосование, а о дополнительных выборах и о пропорциональности можно решить потом... Меньшевистско-эсеровский блок играл ва-банк. Он сегодня мобилизовал все свои силы и рассчитывал иметь большинство.

И опять-таки с умеряющими, примирительными, «благожелательными» нотами выступил большевик Троцкий, которому устроили бурную овацию.

— Вопросы политики и тактики, — сказал он, — будут по существу разбираться особо, в других пунктах порядка дня. Вопрос о президиуме не надо с ними смешивать. Товарищи, взявшие на себя инициативу отставки, должны были бы поднять вопрос и о пополнении президиума большевиками. Было бы глубочайшей ошибкой откладывать перевыборы президиума, так как 180 тысяч петербургских пролетариев, пославших большевиков в городскую думу, могут принять эту оттяжку за игнорирование их существования... Надо немедленно дополнить президиум представителями большевиков и создать его на коалиционных началах.

Но в решительный бой бросился прямо-скачущий Церетели.

— Смешивать вопрос политический и технический значит только затемнять дело. Быть может, в организации президиума была сделана ошибка; но оправдание его работы было в том, что он исполнял волю большинства. Сейчас большинство изменилось, и президиум подает в отставку. Собрание должно дать ответ: признает ли оно новую линию поведения и принимает ли оно нашу отставку. Дело идет не о доверии отдельным лицам и не об их чести, а о системе политики. В прошлый раз советом была одобрена тактика, с которой мы в корне расходимся. Пусть петербургский совет открыто и смело покажет свое политическое лицо всей России и прямо поставит вопрос.

Лидер «всей демократии» был убежден, что показать России неприличное большевистское лицо совет, конечно, не посмеет. Но не удержался и к своему смелому вызову прибавил... глупость: «если над Корниловым, — присовокупил он, — была одержана величайшая бескровная победа, то в этом мы видели заслугу той тактики, которую защищали мы»... Комментировать тут нечего.

На подмогу выступил и Чхеидзе — однако, не столь смело.

— Резолюция 1-го сентября всеми рассматривалась, как коренной перелом. Президиум решил подать в отставку, чтобы проверить, так ли это? Мы думаем, что большинство на последнем собрании было довольно случайным. Поэтому сегодня и надо решить, действительно ли произошел такой перелом во взглядах Совета.

Пожалуй, что «папаша» и напрасно всенародно

приоткрыл спекуляцию звездной палаты. Но, впрочем, в оглашенной затем меньшевистской резолюции имеется также указание на неполноту собрания 1-го сентября. Перед голосованием же ее произошел инцидент, который сильно помог левой части собрания. В оглашенном списке попадавших в отставку не было имени Керенского, который все еще числился в президиуме петербургского совета — с самого 27-го февраля... Большевики заметили это и вернулись к своему предложению: раз уже изменили президиум, исключив Керенского, то почему бы и не продолжить изменения, дополнительно избрав большевиков? Но тут обнаружилась только «наивность» большевистских лидеров. Ибо благородный Церетели немедленно бросился на защиту Керенского: никто де его не думал устранять, но Керенского нет в Петербурге, и за него решать никто не может, хотя бы его решение и было несомненно. С тем же, в обычных плоских выражениях, выступил и партийный товарищ Керенского — Гоц... Понятно, что все это было на руку большевикам. Троцкий поспешил выступить с заявлением, в котором было столько же демагогии, приноровленной к нуждам момента, сколько непререкаемой истины, вечной во всех временах.

— Мы были глубоко убеждены, — сказал Троцкий, — что президиум считает, в виду всего поведения Керенского по отношению к Совету, в виду того, что он не спрашивал Совет ни по одному вопросу, которые волновали страну, в виду того, что он не явился в солдатскую секцию, когда вводил смертную казнь для солдат, — что Керенский в составе президиума состоять не может. Мы заблуждались. Сейчас между Даном и Чхеидзе сидит призрак Ке-

ренского. Помните, что одобряя линию поведения президиума, вы будете одобрять линию Керенского.

Несомненно, в после-корниловской атмосфере это произвело надлежащее впечатление на бродящие солдатские умы. К голосованию меньшевистской резолюции приступили в очень разогретой и напряженной атмосфере. Представители фракций в новых репликах напоминали о решающем значении этого вотума и звали каждый в свой лагерь — во имя революции... Возбуждение еще увеличилось от того, что решено было голосовать путем выхода в двери. Депутаты встали, перемешались, образовали митингующие группы; во всех концах зала шла страстная агитация. И в ней вотируемый пункт был видоизменен, формула была упрощена: голосовали за или против коалиции. И это вполне отвечало действительному положению дел... Момент был, действительно, определяющий.

Часть депутатов должна была выйти через двери, выходящие в залу бюро. Кому же выйти и кому остаться на местах? Очевидно, выйти следовало меньшинству, это проще. Но на какой стороне меньшинство? Распорядители и сама звездная палата — были, видимо, тайно убеждены, что большинство — за старую, «испытанную» тактику: выйти предложили тем, кто принимает отставку президиума.

Но, со всех концов к дверям потянулась, среди шума, волнения и агитации, что-то слишком густая вереница, конца которой еще не видать. В дверях непрерывные споры; стороны осыпают друг друга нелестными комплиментами, в шутку и в серьез. Слышится — то «корниловцы», то «июльские герои»... Вся процедура тянется около часа. «Группа

президиума», в нервном ожидании, пребывает на президентской эстраде, нежданно превратившейся в скамью подсудимых... Уже вышло сотни три человек, среди которых и лидеры оппозиции. Все мы столпились в коридоре у главного входа в большой зал; но нас не пускают обратно, чтобы мы снова не прошли в контрольную дверь. В скуке и нетерпении мы ждем пока выйдут все наши. Но это ужасно долго. Сквозь щель в дверях происходят какие-то пререкания с церберами. Слышен какой-то скандал в зале. Но всему бывает конец. Кончено, — мы хлынули в залу.

У эстрады результат уже известен. За нами, за оппозицией, против коалиции — большинство. Вотум 1-го сентября утвержден многолюдным и вполне законным собранием. Перелом действительно наступил. Оппозиция стала решающей силой, а бывший правящий блок стал оппозицией — на важнейшем посту революции... «Группа президиума» сидит в некотором оцепенении. Она не могла еще за эти несколько минут оправиться ни от удара, ни от... удивления. Ну, что ж! Ягодки-то еще впереди. Они, эти доблестные деятели, сами того хотели.

Оглашаются результаты голосования. Они таковы: за президиум и коалицию — 414 голосов, против — 519, воздержалось — 67... «Оппозиция», то-есть бывшая оппозиция без стеснения долго рукоплещет. Ничего, пусть привыкают, — ягодки еще впереди!... Чхеидзе не может скрыть своего подавленного духа, заявляя:

— Таким образом президиума сейчас нет. Сейчас наше место займут президиумы рабочей и солдатской секции.

Вереница низвергнутых правителей, под торжествующими взорами тысячной массы, в молчании сходит с эстрады. Только Церетели, отдавая дань кавказскому темпераменту, не воздерживается от горячей реплики, от прощального напутствия, от грозного предостережения. Увы! удар только взорвал, но не протрезвил злосчастного слепца.

— Мы сходим с этой трибуны, — закричал он медным голосом, — в сознании, что мы полгода держали высоко и достойно знамя революции. Теперь это знамя перешло в ваши руки. Мы можем только выразить пожелание, что бы вы так же продержали его хотя бы половину этого срока!

Скованный по рукам и ногам раб своей негодной идейки — Церетели был плохим политиком. Полагаю, что он был во всяком случае не лучшим пророком... Я не стану комментировать его последних шагов, не более славных, чем были и первые. Желаю только ото всей души, чтобы они действительно были последними. Даже четыре без малого года большевистской власти не могли стереть в моем мозгу всей горечи воспоминаний об этом человеке, стоявшем некогда во главе революции. Да не будут легким пухом эти четыре года на этой политической могиле!

На место звездной палаты немедленно взошли президиумы рабочей и солдатской секций. В рабочей секции был уже переизбранный, коалиционный президиум — с большевистским большинством и с известным нам Федоровым во главе. Солдатская же секция имела старый меньшевистско-эсеровский президиум, с председателем Завадье, который — чтобы не было слишком резкого перехода, — и занял сейчас председательское место... Впрочем,

следующего доклада об общих перевыборах Совета уже, кажется, никто не слушал. На сегодня было достаточно.

* * *

Но эсер Завадье не долго усидел на председательском месте, всего несколько дней. В солдатской секции через несколько дней состоялись выборы, и «власть» также перешла к большевикам. Оставалось избрать новый большевистский президиум пленума Совета. Но уже и теперь была налицо радикальная перемена — и в Смольном, и в столице. Не нынче-завтра должен был быть переизбран Исп. Комитет, и окончательно утверждена большевистская власть в Петербурге. В Смольном начала перестраиваться канцелярия и некоторые отделы: началось бегство с постов шокированных сторонников меньшевистско-эсеровского блока. При этом не обошлось дело и без «шероховатостей». Так, после ухода старого президиума внезапно обнаружилось, что у петербургского совета нет ни одного автомобиля. Их было не мало с первого дня революции, но теперь оказалось, что все они принадлежат Ц.И.К. Так, говорят, хорошие дельцы, из опасения неприятностей, заблаговременно «переводят» имущество «за жену». Здесь, правда, неприятностей никто не ожидал; но среди кутерьмы междуцарствия, при отсутствии строгих норм, был полный простор для такого рода операций.

Описанным перерождением петербургского совета не ограничился сдвиг низов — под непосредственным впечатлением корниловщины, ускорившей (но не вызвавшей) ликвидацию прежней кон'юнктуры.

В те же самые дни в московском совете произошли совершенно аналогичные события. 6-го сентября в московском пленуме была принята та же циркулярная большевистская резолюция. А на другой день вышел в отставку президиум во главе с Хинчуком. В новый президиум вошли московские большевистские лидеры: Ногин, Смидович, Бухарин, пока подвизавшийся в московской городской думе, — в ожидании пантеона истории.

В провинции в руках большевиков уже был длинный ряд не только уездных, но и губернских советов. То-есть, в руках партии Ленина там была фактическая административная власть, и притом ничем не ограниченная. В таких городах ощетинившиеся советы выделяли из себя чисто большевистские местные военно-революционные комитеты, которые, во время корниловщины, выпустили свои неуклюжие, но острые коготки, а после корниловщины не хотели распускаться...

Мы знаем, что в это время большевистские центры уже восстановили в правах свой лозунг: вся власть советам. И понятно, как при таких условиях общая корниловская ситуация отражалась в незатейливых головах местных большевистских лидеров. Почти механически, без сколько-нибудь ясного представления о смысле собственных действий, местные большевистско-советские органы стали «аннулировать» официальную «власть» и использовать свои возможности в самых широких размерах. Это был новый огромный взрыв «анархии» с точки зрения «директории» и всех лойяльных элементов. Но как бы ни называть этот процесс, ясно одно: большевизм расцвел после корниловщины пышным цветом и глубоко стал пускать корни по всей стране.

Как далеко дело уже тогда заходило в отдельных случаях, можно видеть, напр., по такой иллюстрации, вносившей довольно яркий штришок в тогдашнюю, не слишком монотонную жизнь. В Кунгуре Пермской губ. 3-го сентября на кадетское собрание явился гражданин с таким мандатом, написанным на бланке местного совета, за надлежащими подписями и печатью: «пред'явитель сего, П. С. Щербаков, действительно член Комитета революционной власти г. Кунгура, командируется на собрание партии народной свободы 3-го сентября в доме Алаевой для контролирования собрания, с правом закрытия такового, если он найдет нужным». Собравшиеся кадеты разошлись. А кунгурский комитет революционной власти («Кукоревласть») постановил, чтобы впредь собрания созывались только по его разрешению; вопрос же об аресте местных кадетов остался пока открытым...

Было бы напрасно думать, что это единичный случай — в местах, не столь отдаленных. Совершенно та же картина наблюдалась в корниловские дни в большом центре, в Самаре и в других местах. Наряду с большевистским расцветом начиналось большевистское засилье, повергавшее все «государственные» элементы в панику и гнев.

Мы знаем, что еще до корниловщины, перед падением Риги, после московского Совещания — вся буржуазная печать забила тревогу по случаю большевистской опасности, в связи с «достоверными сведениями» о предстоящих «выступлениях» большевиков. Но это была ложная тревога; это была демонстрация с целью направить общественное внимание на ложный след и прикрыть заговор Ставки.

Теперь было не то. «Большая» пресса снова рвала и метала. Но эта паника и этот гнев уже были вполне искренны. «Опасность» была налицо. Уже не одни только центральные, столичные советы, лидеры всех прочих, в руках Ленина, — уже одно это имело решающее значение. А действующая армия! А тыловые гарнизоны!.. Ведь все это означало перетекание всей реальной силы и всей государственной власти — уже не к ручным, полуразложившимся, самоупразднившимся советам, а в руки «потусторонних», крепко спаянных с массой большевиков. Было от чего забить неподдельную тревогу.

* * *

Но корниловщина вызвала не только ускоренную большевизацию советов и рабоче-крестьянских масс. Она резко отразилась и на текущей политике советских противников Ленина. Меньшевики и эсеры, господствующие в Ц. И. К., были попрежнему далеки от большевизма; но и они сдвинулись со своих мест и откатились налево.

31-го августа Ц. И. К., как мы знаем, снова преклонил колена перед Зимним дворцом, приняв резолюцию о полноте власти полукорниловца министра-президента. Церетели снова доставил эту победу демократии и революции. Но этот безнадежный больной все же больше не определял политики верховного советского органа и даже не всегда был в состоянии увлечь за собой свою звездную палату.

Начнем с эсеров... Чернов, освободившись от министерского портфеля, в том же заседании раз-

вел такую фронду, что небу жарко стало. Он каламбурил, как никогда, декламировал в стихах и прозе, делал такие жесты по адресу Зимнего и такие глазки аудитории, что совершенно покорил не только своих эсеров, но и мамелюков вообще. А затем Чернов открыл противоправительственную кампанию в «Деле Народа». Он в нескольких статьях переложил эту свою речь — о том, как «все на свете сем превратно, все на свете коловратно», как «времен коловращенье» бросило революционеров в ряды контр-революции, как у нас норовят сделать Сеньку по шапке, а не шапку по Сеньке, как вредны в политике «волевые импульсы» впечатлительного главы правительства, как далеки мы от демократизма и прочих идеалов... Словом, на другой день после корниловщины Чернов перешел в оппозицию. Большая пресса заулюлюкала. Да и не без основания: за Черновым стояли очень компактные группы мещанства и львиная доля тех рабочих, которые еще не ушли к большевикам...

Вообще, уход Чернова из правительства и его вступление в политическую и литературную борьбу имело не малые последствия для эсеровской партии, которая попрежнему была решающей силой — если не в петербургском совете, то в рабоче-солдатском и крестьянском Ц. И. К.

Раньше у эсеров были т е ч е н и я. Теперь, после корниловщины, сформировались ф р а к ц и и. Направо была группа «Воли Народа» — Брешковская, Керенский, Савинков, Лебедев и др.; в центре было «Дело Народа» — Зензинов, Гоц, Ракитников, Чернов; но особенно резкой грани между этими течениями не было, и они мирно (хотя и не без недоразумений) сотрудничали в партийном ц. к.

Далеко налево была группа эсеровских интернационалистов — Камков, Карелин, Малкин, Спиридонова — с газетой «Земля и Воля». Эти составляли решительную оппозицию и даже автономную, подобно группе Мартова у меньшевиков.

Сейчас, после корниловщины, когда Чернов стал фрондировать и протестовать против коалиции с кадетами, он получил большинство в центральном комитете. Официальный партийный центр принял его формулу и ударился далеко влево. Этого не вынесла правая часть и подняла на всю Россию знамя протеста, мобилизуя силы вокруг борьбы с черновским ц. к. Образовались две борющихся фракции. За Черновым было, пожалуй, меньшинство. Но за ним было большинство советских эсеров. Вместе с тем, левые эсеры после корниловщины уже перестали выносить единство фирмы с Керенским и Савинковым. Они об'явили себя независимыми и выпустили свой манифест. Договорные отношения с партией они еще сохранили, но уже вступили с ней в открытую борьбу...

В общем, эта промежуточная партия, эта главная опора коалиционных правительств в городах, уже растратила огромную долю своего веса, уступив его большевикам; в деревнях она его еще сохраняла. Но ее внутреннее разложение с эпохи корниловщины пошло быстрым темпом; а ее центр тяжести переместился влево.

* * *

В общем, тот же сдвиг наблюдался и у меньшевиков. У этих «марксистов» потресовский «День» и плехановское «Единство» соответствовали эсеров-

ской «Воле Народа». Эти, разумеется, никуда не сдвинулись. Но они, собственно, и числились всегда в буржуазном лагере и даже не были формально представлены в Совете. «День» в эту эпоху, ради посрамления прислужников Вильгельма, над своей первой страницей стал протягивать огромный плакат: «вне коалиции нет спасения.» И остроумно, и убедительно!

Церетели, (бывший!) советский лидер, образом мыслей, надо сказать, ничем не отличался от Потресова и Плеханова. Он отличался от них только образом жизни. Церетели работал в советских органах и в меньшевистском партийном ц. к., и если это считать «почвой», то от этой почвы он никогда не отрывался. Но вопрос в том, как обстояло дело с его влиянием и лидерством?

Тут, несомненно, — корниловщина выбила у него из-под ног и ц. к-т, и меньшевистскую часть звездной палаты. Если мы впредь и будем свидетелями еще одной его победы, то это уже не за счет его влияния, а за счет полной растерянности этих гамлетизированных преподавателей социализма и за счет отсутствия у них положительной программы. Из меньшевиков звездной палаты, кроме Церетели, самостоятельную величину представлял, в сущности, один Дан. Мы видели, что уже с самых июльских событий он стал представлять вместе с тем левую звездной палаты. Уже с тех пор началась эмансипация Дана и его самостоятельная линия внутри правящей группы. Сейчас, после корниловщины, эта эмансипация завершилась, а его линия, подобно линии Чернова, стала недвусмысленно оппозиционной по адресу Зимнего дворца, этой святыни Церетели. Керенский, в своих «показаниях»

по делу Корнилова, отмечает, как симптом, что на том же заседании Ц. И. К., 31-го августа, Дан, по поводу закрытия «Новой Жизни» и «Рабочего», дерзко и бестактно протестует против безответственности и бесконтрольности правительства... Но, главное дело в том, что в руках Дана находились советские «Известия». И по ним можно проследить, как далеко ушел Дан в своей оппозиционности, ежедневно бомбардируя не только кадетские, но и вполне официальные сферы, по адресу которых требовалась и даже обещалась только одна «поддержка». Буржуазные газеты выходили из себя по поводу того странного факта, что центральный советский орган захватили в свои руки большевики!.. С идеей коалиции Дан, правда, не порывал; он ясно видел, что мысль о коалиции без кадетов — не больше, как игрушка и фикция; но стоя на официальной позиции Ц. И. К., не решаясь порвать со своими славными традициями, боясь попасть в рабство к большевикам, — он nominatim помалкивал в «Известиях» о коалиции, фактически дискредитируя и разоблачая ее по мере сил.

При таких условиях, сдвинулась с места и советская периферия звездной палаты. Группа «лойяльных» меньшевиков, ратовавших против коалиции, росла очень быстро. Богданов, положивший начало этой группе в пределах Смольного, был теперь чуть-чуть не в большинстве.

Я хорошо помню заседания меньшевистской фракции (в комнате № 34), посвященные все тому же вопросу о власти — перед «демократическим Совещанием». Было очень бурно и многолюдно. Приходили меньшевистские лидеры, не работавшие в советских органах, главным образом члены Ц. К.

Казалось, уже было сказано решительно все, что только можно. Но парламентские ухищрения сторон были, поистине, неисчерпаемы. Было глубоко бесплодно, но не особенно скучно...

Во всяком случае среди советских меньшевиков положение было такое, что при помощи черновских эсеров, к демократическому Совещанию, от коалиции могло остаться в Ц. И. К. одно воспоминание.

Но не лучше, пожалуй, обстояло дело и в меньшевистском партийном центре. Для иллюстрации кон'юнктуры в меньшевистском Ц. К. можно отметить следующее. 9-го сентября там была принята резолюция — опять таки о власти. В ней была огромная масса слов о том, что власть должна быть вполне добропорядочной: «способной действительно проводить программу, принятую об'единенной демократией (!) на московском совещании (!), вести энергичную борьбу с контр-революцией, реорганизовать армию и действовать в открытом и тесном сотрудничестве с демократическими организациями». К участию в такой власти следует привлечь и цензовиков, при чем в этом случае должен быть создан правомочный предпарламент. Если же на указанных основах цензовики не пойдут, то надлежит образовать правительство из «об'единенной демократии»... Все это, как видим, не слишком содержательно. Все это гнется туда и сюда — и к Церетели, и к Дану, и к Мартову — и не достигает ни до одного. Вероятно, это было сделано для более единодушного и авторитетного голосования. Но увы! резолюция была принята 9-ю голосами против 7 при 2-х воздержавшихся.

Церетели было хорошо порхать между Смольным и Зимним. Но ведь партийные организации были

призваны, вообще говоря, вести работу среди масс. И пролетариат после корниловщины энергично подхлестывал меньшевистские центры. Массы, независимо от лидеров, откатились далеко по направлению к большевикам. И во избежание полного разрыва, их приходилось догонять волей-неволей.

Конечно, сохраняя капитал, надо было соблюсти и невинность по части большевизма. Поэтому, центральный литературный орган партии, «Рабочая Газета», поспешно плетясь за «Известиями», усиленно ковыляла и хромала на обе ноги. Кадетская «Речь» не знала, как и быть. Сегодня она поставит в пример разбушевавшимся «Известиям» благонравие «органа Церетели». А завтра принуждена вылить по ушату помоев на обоих. «Рабочая Газета» после корниловщины решительно не знала, куда преклонить скорбную главу: она перепробовала всего понемногу — и коалицию вообще, и коалицию без кадетов, и даже богдановское «однородное правительство». Но ни на чем окончательно так и не остановилась. Каждому свое: кто передвинулся с одного места на другое, а кто, выбитый из седла, вообще остался без места.

В эти времена над почтенным органом любил потешаться Троцкий.

— Посмотрите, — говаривал он мне, — что пишет газета вашей партии... Знаете, что̀ я вам скажу: эта газета в а ш е й п а р т и и — самая глупая газета. Из всех существующих — самая глупая!

Эта газета «моей партии» фигурировала у нас в беседах постоянно. Я, вообще говоря, не столь часто соглашался с Троцким. Но по данному предмету, даже в шутку не спорил с ним.

* * *

Однако, «Рабочая Газета» была органом «нашей партии» ровно на столько же, на сколько органом Камкова и Спиридоновой было «Дело Народа», которому «Рабочая Газета» соответствовала по своему направлению и внутри-партийному положению. Между нами, интернационалистами группы Мартова, и центральным органом меньшевиков попрежнему не было ничего общего. Нашим литературным выражением служила не «Рабочая Газета», а «Новая Жизнь». «Искра» все еще не выходила. Меньшевистские же центры были для нас сферой чуждой, враждебной, а обычно — и неведомой.

Идейно леветь под влиянием корниловщины мы как будто бы не имели никаких оснований. Уже давным давно наша фракция утвердилась на позиции диктатуры советской демократии. От большевиков нас отделяла не столько теория, сколько практика, которая тогда определенно предвкушалась и впоследствии дала себя знать; нас разделяли не столько лозунги, сколько глубоко-различное понимание их внутреннего смысла. Этот смысл, о котором мы еще успеем вдоволь наговориться, большевики приберегали для употребления верхов и не несли в массы. Но это уже была не левизна Ленина, а его метод. Корниловщина нам его привить не могла.

Однако, она далеко не прошла бесследно для меньшевиков-интернационалистов. Как известно, они имели в своих руках всю столичную меньшевистскую организацию: петербургский комитет состоял из одних мартовцев. Рабочие районы, особенно Вас. Остров, как мы знаем, уже давным давно настаивали на окончательном и формальном расколе с официальным меньшевизмом. Все лето дело тянулось и,

можно сказать, саботировалось усилиями старых и влиятельных меньшевиков, близких Мартову. Но сейчас фирма Церетели стала окончательно невыносимой для многих петербургских лидеров и для солидных рабочих кадров в районах. Начался массовый уход из организации. Пример показал Ларин, вслед за которым ушел не один десяток активных работников. И почти все ушли прямо к большевикам. А затем, в первых числах сентября, произошел раскол в наиболее сильной из наших рабочих организаций — на Васильевском Острове. И ко времени «демократического Совещания» район, чуть ли не всей своей массой вошел в партию Ленина. Это вызвало брожение и в других районах, перекинулось и в провинцию. Кризис меньшевизма начался по всей линии и развивался быстро.

Он довольно сильно отразился на известном нам политическом «новообразовании» — на партии «новожизненцев», официально — «об'единенных интернационалистов». Эта «партия» (куда ныне вошел и достославный Стеклов) стала довольно сильно расти за счет меньшевиков, благодаря незаменимому средству — большой и многочитаемой газете. Наша редакция стала проявлять усиленную «партийную» деятельность. Готовилась не нынче-завтра и всероссийская конференция провинциальных «новожизненских» групп.

* * *

Что касается большевиков, то им также было некуда сдвигаться влево. Их дело было только поспевать строить ряды своей армии, растущей не по дням, а по часам. Но после корниловщины можно

было — внимательному взору — заметить, как большевики стали вновь предвкушать, можно сказать, осязать руками власть, сорвавшуюся в июле... Ленин и Зиновьев, пользуясь досугом, стали углублять очередную программу и тактику. Это была тактика законченного якобинства и программа всеобщего взрыва на поучение пролетарской Европе.

В одном из первых номеров «Рабочего Пути» (взамен «Рабочего», «Пролетария».и «Правды») Ленин предлагал «компромисс». Пусть меньшевистско-эсеровский блок, прогнав буржуазию, создаст власть, безусловно ответственную перед советами. Большевики не будут чинить этому препятствий при условии — во-первых, полной свободы агитации, а во-вторых, передачи советам всей власти на местах. Что для рыцарей коалиции это был «компромисс», вполне очевидно. В чем заключался «компромисс» для Ленина это, наоборот, не особенно ясно. Но вполне ясны важнейшие перспективы, представлявшиеся уму Ленина. Если большевистская партия ныне растет, как снежный ком, и уже становится решающей силой, то на ближайшем С'езде советов у Ленина обеспечено большинство. Помимо «свободы агитации», этому способствует весь об'ективный ход вещей, а, в частности, тот неизбежный бег на месте в угоду буржуазии, который предпримут меньшевики и эсеры в случае своего согласия на «компромисс». Тогда правящий блок можно будет прогнать от власти (или еще подальше), не прибегая к рискованным экспериментам 10-го июня и 4-го июля. Партия Ленина, безболезненно и наверняка, будет у «полноты власти». Ну, и что она сделает? В общем, ее программу мы знаем. Но ныне, в «Рабочем Пути», Зиновьев дополняет и кон-

кретизирует: «Отказ в уплате долгов, сделанных в связи с войной, будет одним из первых шагов правительства, порвавшего с буржуазией. Частичная экспроприация крупнейших богачей в пользу государства будет вторым шагом»...

Спора нет: это очень соблазнительно... И заметьте, — при отсутствии элементарной экономической программы, при систематическом подмене марксистских понятий анархистскими лозунгами («организованный захват», рабочий контроль, комментированный выше, и т. п.) — какие термины употребляет гражданин Зиновьев: богачи! И научно, и государственно, и... доступно пониманию любого люмпенпролетария. Вот почему правильные теоретические формулы большевиков о рабоче-крестьянской диктатуре и не могли привлечь в партию Ленина крайне левые марксистские элементы. Я лично говаривал в те времена — помню, говаривал Луначарскому, — что если бы не эти постоянные подозрительные и скверные ноты в их «идеологии», то и я мог бы войти в партию большевиков. Но не вошел и хорошо сделал...

* * *

Сдвиг меньшевиков и эсеров, конечно, знаменовал собой и значительное полевение курса официальной советской политики, то-есть курса Ц. И. К.... Прежде всего надо вспомнить опять таки о резолюции 31-го августа. Она, правда, снова развязала руки Керенскому и санкционировала «директорию», обещав ей пресловутую поддержку. Но — это было на время и притом на очень корот-

кий срок, только до созыва «демократического совещания». А вместе с тем Ц. И. К. постановил, что вопрос о власти в окончательной форме (до Учр. Собр.) будет решен именно этим «демократическим совещанием», созываемым 12-го сентября. Тем самым Ц. И. К. отказался предрешить коалицию, которая только что была прописной истиной для большинства. И тем самым был фактически утвержден принцип диктатуры демократии: цензовая Россия устранялась от решения вопроса о власти, это признавалось монополией одной левой части московского совещания.

Правда, внимательный читатель видит, что это совсем не ново для Совета. Так обыкновенно и бывало у нас. В мае Исполнительный Комитет безапелляционно решал, быть или не быть коалиции вместо чисто буржуазного кабинета Гучкова-Милюкова. В июле пленум Ц. И. К. решал, быть ли чисто демократическому правительству вместо коалиции. Голос буржуазии тут в расчет не принимался. Верховные советские органы решали, как полновластные государственные учреждения.

Но в том то и дело, что с мая и июля утекло бесконечно много воды. С тех пор Зимний дворец (то-есть буржуазия) получил неограниченные полномочия — по своему кроить власть и решать наши судьбы. И Зимний дворец пользовался этим так широко, так демонстративно, что вся страна уже привыкла к этому новому положению, к отстранению Совета с политической арены, к диктатуре буржуазии, хотя бы и номинальной. С мая и июля революция успела растратить столько сил, успела пасть так низко, что возвращение к прежнему статусу было теперь «прогрессом». Передача про-

блемы власти на решение органа демократии знаменовала несомненное **полевение** меньшевистско-эсеровского большинства.

Правда и то, что Ц. И. К. был теперь уже бессилен, что он полуразложился; и как бы ни были хороши его **слова**, но он больше ни к чему не способен на деле, кроме дальнейшей капитуляции. И **это** верно... Но ведь мы уж давным давно отказались и от приличных **слов**. А сейчас ведь речь идет о резолюции: от словесной резолюции нельзя и требовать большего, чем она обещает на словах. Между тем, демократическое совещание уже собиралось в спешном порядке и должно было действительно открыться 12-го сентября.

Правда, наконец, и то, что самая мысль о демократическом совещании была признаком и продуктом революционного бессилия; а со стороны верховодящих лидеров это была обычная уловка, обычная оттяжка, испытанное средство сорвать разумное решение. В июле гражданин Церетели прятался за «пленум» Ц. И. К., считая обычный состав его неправомочным; в сентябре он прятался за кооператоров, казаков и еще чорт знает кого, считая «**пленум**» неправомочным. Это все также не подлежит сомнению... Но, повторяю, о безнадежно больных я не говорю. Я говорю об их жертвах. Для советской **массы**, приученной только кричать «ура» Керенскому и Терещенке, даже возврат к до-июльским дням знаменовал собой полевение. Забитой и униженной революции для «прогресса» теперь требовалось так мало! И этот «прогресс» был налицо.

После корниловщины встряхнутые мамелюки немного расправили затекшие члены и даже чуть-чуть

воодушевились. Они были убеждены, что власть будет действительно создана по воле демократии; они не стеснялись фрондировать и уже обрекать коалицию на слом...

Но ведь Зимний дворец, конечно, рассуждал иначе. Не только рассуждал, но и пытался действовать. Мы знаем, что в самые дни корниловщины министр-президент по-преимуществу занимался жонглированием портфелями — пока это невинное бильбокэ не было прекращено вмешательством Совета. Был образован «совет пяти». Но Керенский тут же заявил, что он намерен вновь предаться пополнению правительства...

В итоге мы имели перед собой явный конфликт между «частной организацией» и «независимой верховной властью».

Помню, в заседании бюро 4-го сентября, по какому-то поводу, снова говорили о власти и предстоящем демократическом совещании. Я указал на наличность крупного «недоразумения» между Зимним и Смольным, из которых каждый у себя образует власть. Я предлагал об'ясниться с Керенским и сделать ему «предупреждение» — в надлежащих, хотя бы мягких, но недвусмысленных тонах. Это было отвергнуто. Церетели заявил, что на этот раз он «левее» меня и находит нужным делать свое дело, никого не предупреждая... Ну, что ж!

* * *

Однако, все это слова. О сдвиге же Ц.И.К. можно было судить и по делам его.

Самым серьезным делом в корниловщину было дело военно-революционного комитета.

Но мы знаем, что «этот комитет всеобщей безопасности» при «частной организации» и не думал ликвидироваться по миновании острой опасности. Мало того: Ц. И. К. постановил предложить правительству в области охраны порядка действовать в тесном контакте с военно-революционным комитетом. Само собой разумеется, что этим санкционировались и местные органы этого института — со всеми их чрезвычайными функциями.

Понятно, что для «законной власти» это было нестерпимо. Ведь не мало, если не кандидатов в министры, то их ближайших друзей пострадало от военно-революционного комитета прямо на глазах у «главы правительства и государства». Главное же — принципы... Керенский, незыблемый, как скала, разумеется, не мог полеветь, как и не мог поправеть, после корниловщины. Но... ему пришлось немножко присмиреть в это время. Беспрекословно пришлось претерпеть ему беззакония и самочинства в дни кризиса. А после кризиса пришлось «мучительно поколебаться». Но все же он решился того же 4-го сентября. Министр-президент и верховный главнокомандующий писал так: «В целях борьбы с мятежом Корнилова, в городах, деревнях, на жел. дорожных станциях, как в тылу, так в районе действующей армии, по почину самих же граждан (?!), образовались особые комитеты спасения и охраны революции... Эти комитеты... сумели защитить и укоренить завоевания революции... оказав весьма существенную помощь правительственной власти. Ныне, когда мятежники сдались, арестованы и преданы суду... цели комитетов спасения тем самым уже достигнуты. Свидетельствуя от имени всей нации о чрезвычайных заслугах этих комитетов, Вр.

Правительство приглашает всех граждан вернуться к обычным условиям жизни, с восстановлением законного порядка деятельности каждого органа власти... Самочинных же действий в дальнейшем допускаемо быть не должно, и Временное Правительство будет с ними бороться, как с действиями самоуправными и вредными республике». Очень хорошо, как видим, писал министр-президент! Разница между мыслью и словом была, конечно, также данью корниловщине.

Но дело в том, что результаты получились такие, на которые Керенский не рассчитывал. В официальных советских «Известиях» приказ о роспуске военно-революционных комитетов был напечатан на скромном месте скромным шрифтом. А в том же нумере от 5-го сентября красовался плакат, возвещавший, что отныне заседания военно-революционного комитета будут происходить тогда-то и тогда-то, каждую неделю... На другой день последовала громовая передовица Дана против «поддерживаемого» главы правительства, по поводу его акта 4-го сентября. А затем со стороны самого военно-революционного комитета при Ц. И. К. последовал отказ подчиниться верховной власти. Ц. И. К. это санкционировал без сучка и задоринки... Это был огромный сдвиг Смольного. Но это, как видим, был сдвиг и всей кон'юнктуры... в результате злосчастного заговора биржи и Ставки.

Этого мало. В те же дни при Ц. И. К. было разработано и опубликовано «Положение о рабочей милиции». Это было не что иное, как вооружение рабочих... Помнит ли читатель апрель месяц, когда Исполнительный Комитет был против создания красной гвардии? Помнит ли читатель июнь, когда

Церетели требовал разоружения столичного пролетариата? Теперь было не то, теперь вооружалась большевистская гвардия с соизволения Ц. И. К.

Вся страна видела это. И, в частности, хорошо оценивали создавшееся положение все серьезные элементы буржуазии. Солидная кадетская «Речь» чуть не ежедневно разрабатывала тему о том, как Смольный, недавняя надежная опора, попал ныне в лапы большевиков. Он говорит теперь словами Ленина и действует его методами... Буржуазных публицистов, политиков и профессоров нисколько не утешают декорумы «Известий», «Рабочей Газеты» и «Дела Народа». Попытки Дана и Чернова замазать разницу между прошлым и настоящим, попытки соблюсти достоинство солидных, зрелых, устойчивых политиков и доказать иммунитет от большевизма, — эти попытки никого обмануть не могут. Факт большевистского пленения налицо.

Но вывод? Каков вывод публицистов, биржевиков и профессоров — если не для всенародной печати, то для самих себя? Увы, — вывод до крайности печальный. Травить Смольный можно и должно попрежнему, как клевретов Ленина, Вильгельма и дьявола. Но опереться-то на него, как прежде, надеяться-то на него — нельзя... Спрашивается, на кого же можно опереться сейчас, после краха корниловщины?

---

2. ЛИЦО И ИЗНАНКА «ДИРЕКТОРИИ»

В надзвездных сферах. — Керенский заметает следы корниловщины. — Его разоблачают слева и справа. — «Прогрессивный» состав директории. — Военный министр Верховский и его программа. — Ликвидация ген. Алексеева. — Перемены в штабе Пет. Округа. — Царское спасибо г-на Пальчинского. — Обманчивое лицо и действительная сущность. — Недосмотры, дипломатическая игра и стечения обстоятельств. — Министр-президент «стиснул зубы». — Его «волевые импульсы». — Покушения на эвакуацию и разгрузку Петербурга. — Продолжение истории с Финляндским сеймом. — Новая сказка про белого бычка. — Новые милости корниловцам. — Кто же будет формировать власть? — Керенский бросается портфелями без достаточной осторожности. — Московские тузы и их условия. — Керенский ухитрился взорвать Потресова. — Директория и страна. — На основных фронтах органической работы. — Развал. — Корниловщина на юге. — Дела войны. — «Мир за счет России». — С чем вернулась заграничная советская делегация.

Так было в Смольном. Ну, а как в Зимнем? Что наблюдалось после корниловской траги-комедии в самых высоких надзвездных сферах?

С первого взгляда и там наблюдалось некоторое «полевение». Как будто бы и там встряска чуть-чуть отрезвила и создала видимость «прогресса».

Только что пришлось отметить, что Керенский как будто присмирел, сократился и перестал сыпать

пощечинами по адресу революционных организаций. Даже в очень щекотливом случае он нашел приличный язык для своих предложений... Когда же его предложения (насчет упразднения военно-рев. комитетов) не были приняты, то он замолчал и сидел смирненько. Насчет демократического совещания, которое должно было по слову Ц. И. К. — решить его судьбу безапелляционно — Керенский также не вступал ни в какие пререкания.

Впрочем, начало сентября так называемый верховный главнокомандующий провел в своей Ставке, откуда вернулся в столицу только к 12 сентября. В Ставке Керенский занимался, очевидно, делами армии. Но известно также, что очень много времени он посвятил там ликвидации дела Корнилова. В Ставке тогда работала созданная им следственная комиссия. Комментируя свои показания, Керенский впоследствии жаловался, что комиссия была недостаточно беспристрастной: она держала руку Корнилова и стремилась представить его роль не мятежной, а легальной; тем самым комиссия топила Керенского. И сомнений быть не может: пребывая в Ставке, глава правительства, сознательно или инстинктивно, немного заметал следы своей работы в корниловские и предшествующие дни. Во всяком случае делом Корнилова он занимался вплотную, участвуя в следствии и даже лично производя допросы...

Между тем, его роль в этом деле с каждым днем разоблачалась все больше и делалась достоянием страны. Об этом старались люди, группы, газеты по обе стороны Керенского — и левые, и правые противники его. Я уже упоминал, что большевистский докладчик в петербургском совете, при шуме и

протестах эсеров, 10-го сентября изложил в общих чертах истинную историю корниловщины. Но еще раньше в бюро Ц. И. К., за подписью Троцкого и Каменева, поступило заявление такого рода: в печати де появились многочисленные разоблачения относительно действий некоторых министров и их агентов в связи с подготовкой корниловского заговора; эти разоблачения, совпадая друг с другом, соответствуя общеизвестным фактам, и не встречая официальных опровержений, кажутся вполне убедительными. Изложив далее некоторые хорошо известные нам факты, авторы заявления, в интересах рабочего класса и всей страны, требуют немедленных мер по освещению «политической стороны дела». И в первую голову они предлагают запросить бывших членов кабинета, советских министров, обо всем том, что им было известно в Зимнем дворце по делу Корнилова... Бюро не оставалось ничего делать, как принять это «предложение». Уже в газетах репортеры оповестили, что на днях Авксентьев, Скобелев и Чернов, в ответ на запрос, выступят с сообщениями об интимной стороне корниловщины. Но эти «сообщения», конечно, не состоялись.

Со своей стороны, корниловцы также усиленно занимались вскрытием корниловского выступления и препарированием отдельных частей его. Их газеты, собственно, и разоблачили Керенского с его соратниками. В «Новом Времени», в «Утре России», в «Русском Слове» печаталось множество документов и материалов. Их сейчас не мало лежит предо мной. Они могли бы дополнить историю корниловщины, изложенную в 5-й книге, но ни исправить ее, ни внести в нее новые существенные черты они не могли

бы. Пусть моя «история» останется, как она есть, а полностью пусть материал используют историки.

* * *

Итак, Керенский сидел в Ставке и как будто был немножко придавлен корниловским эпизодом, выбившим из под него прежнюю почву и создавшим новую кон'юнктуру в революции. Но — помимо «сокращения» Керенского — Зимний дворец, на первый взгляд, подобно Смольному, был как будто отброшен корниловщиной налево. Об этом свидетельствовал ряд фактов.

Как известно, в те времена нами мудро правил «совет пяти» — директория-тож. И был, прежде всего, крайне «прогрессивен» (сравнительно со всем предыдущим) самый состав этой верховной власти. Не только из одиозных лиц, но даже и из цензовиков в «совете пяти» пребывал только один Терещенко. Беспартийные Верховский и Вердеревский заслуживали доверия больше, чем все министры-социалисты, вместе взятые, когда либо действовавшие в Маринском или Зимнем дворце согласно инспирациям Церетели. Четвертым членом директории был москвич Никитин, которого считали даже партийным социалдемократом, с прошлым и т. п. (ну, конечно, Ленин и самого Чхеидзе называл околопартийным, — так разве на него угодишь!) И, наконец, возглавлял директорию все тот же известный демократ и социалист Керенский. Лучшего состава правительства, впредь до полномочного демократического совещания, нельзя было и желать. Но после-корниловская «прогрессивность» проявлялась не только в составе, а и в делах директории.

Когда мы в Ц. И. К. еще не были знакомы лично с новым военным министром, Верховским, мы уже были достаточно о нем наслышаны. Это был человек очень шумный. Но его политическая и военно-техническая репутация, как будто бы не позволяла ставить ему в укор эту шумливость, а наоборот — заставляла смотреть на него с надеждой. Я уже упоминал об его действительном контакте с революционными органами и об его энергичной деятельности на посту начальника московского военного округа... По приезде в Петербург он не замедлил развернуть самые широкие планы реорганизации армии. Я не буду излагать их по газетным сообщениям и интервью. Целью его было, конечно, воссоздание боевой мощи; но идти к этой цели он пытался разными путями — и техническим, и политическим. В частности, его проекты предполагали сильное сокращение численности армии. Это должно было иметь первостепенное значение и для экономики, и для финансов истощенного государства. Но главное, что вызывало сенсацию, — это предполагаемые крутые меры по адресу наличного командного состава.

7-го сентября Верховский, следуя своим московским обычаям, явился представиться в Смольный. Он попал в заседание бюро, где произнес большую приветственную програмную речь. Человек молодой и в политике не искушенный, он не рассчитал. Половина его речи была, по меньшей мере излишней. Она была посвящена не больше, не меньше, как агитации Смольных циммервальдцев и пацифистов по части опасностей, грозящих нам от германского бронированного кулака. Министр вдался в экономические изыскания, воспроизводя перед

нами всю мудрость бульварно-шовинистской прессы эпохи войны. При этом, несколько злоупотребляя ораторскими приемами, министр кричал, стучал и жестикулировал свыше меры. Слушать его в Смольном, даже пообтесавшимся мамелюкам, было конфузно. Общее впечатление было значительно испорчено. Между тем, деловая часть речи Верховского заслуживала всякого внимания и одобрения... Об'явив себя убежденным сторонником армейских организаций, министр, между прочим, продолжал так:

— До сих пор правительство говорило, что хотя командному составу нельзя доверять политически (да? разве говорило?), но он подготовлен технически и потому с ним надо мириться. Теперь решено с этим покончить. Правительство стало на такой путь: весь командный состав, не пользующийся доверием, будет заменен людьми, которым доверяют, независимо от их чина, лишь бы они были надежны политически и подготовлены технически. В течение 11-ти лет я состою в рядах армии, и я знаю много людей, сравнительно молодых, бывших полковниками и подполковниками в начале войны, которым можно доверить армию. Прежде всего должны быть убраны все люди, которым мы не верим. Ставка уже реформируется. Все ее руководящие деятели будут смещены, ибо они не могли не знать о корниловском заговоре...

Все это в нашем парламенте «произвело вполне благоприятное впечатление». Спрашивается, почему все это оказалось возможным и почему все это было сказано в с е н т я б р е, а не в мае? Не была ли бы тогда сохранена огромная доля боеспособности нашего фронта? Не получил ли бы совсем

иное место в нашей истории больной вопрос об армейских организациях?.. Ведь потому-то они и расцвели, быть может, свыше меры, что армию упорно не желали из'ять из рук заведомо контрреволюционного командного состава. Ведь потому-то, в тяжбе комитетов с командирами, и разлагалась армия, что подготовленных людей, способных стать на уровень событий, упорно не хотели видеть на месте высоких чинов.

Верховский от имени правительства предложил, далее, пополнить корниловскую следственную комиссию советскими людьми (что и было сделано). И, наконец, министр сообщил выдающуюся новость:

— Ген. Алексеев не может оставаться на своем месте, — он не понимает психологии современного войска.

Новый начальник штаба, только что пожалованный Керенским, действительно, в этот самый день подал в отставку. Конечно, что нибудь одно: либо Верховский, либо Алексеев. Несомненно, благодаря Верховскому и сошел ныне окончательно с арены революции этот обломок старого порядка.

А уж он было начал свою высокополезную деятельность на новом посту, под крылом Керенского. Официальный телеграф только что сообщил, что по его приказу был «демобилизован отряд полковника Короткова» — тот самый отряд, который, не в пример другим, двинулся в Могилев и Оршу для локализации корниловской Ставки. Это было, конечно, преступно со стороны полк. Короткова. Ведь полагалось только по прямому проводу убеждать Корнилова сесть на гауптвахту... Керенский, на прощанье с Алексеевым, издал милостивый рескрипт, от которого исходил очень дурной запах.

Но все же дело было сделано. Вместо Алексеева был налицо Верховский. Этим мы были обязаны корниловщие.

Военный министр через два дня снова посетил Смольный (вместе с Вердеревским) и излагал свою программу перед пленумом Ц. И. К. Его хорошо встречали, он имел хорошую левую прессу. А Церетели изрек свою сакраментальную формулу: «наша программа принята Вр. Правительством».

* * *

«Сдвиг» как будто бы наблюдался не только в Зимнем, но и в известном нам одиознейшем штабе петербургского округа. Туда назначен был ныне опять новый глава, некий полковник Полковников — очевидно, креатура энергичного Верховского. Назначение состоялось 8-го, а на следующий день командующий округом явился в солдатскую секцию Совета для генерального выступления. В солдатской секции массы уже шли за Лениным; но Полковников имел большой успех. Из заседания бюро я зашел в большой зал уже в конце его речи. Солдатские депутаты толковали, что таких слов от людей из штаба они еще не слышали. А президиум секции — еще старый, эсеровский призидиум — был, можно сказать, полон энтузиазма и говорил о наступивших новых временах.

И, наконец, сам Пальчинский, эта притча во советских языцех, этот баловень биржевиков, этот наперсник главы правительства и государства — стал решительно не ко двору, стал окончательно невозможен при нынешних обстоятельствах. На другой день после ликвидации Корнилова он погиб

жертвой общественного мнения и куда-то исчез — впрочем не навсегда. Он находился где-то поблизости к покоям министра-президента, и он еще промелькнет перед нами в роковые дни... Газеты определенно сообщали, что генерал-губернатор пострадал за неумеренно административную ретивость: за «ликвидацию» «Новой Жизни» и «Рабочего». Эта пощечина, данная безо всякого повода в напряженнейший момент, действительно вызвала резкую реакцию со стороны левой и правой демократии. Но Пальчинский тут, во всяком случае, пострадал невинно, за други своя. Известно, что «закрывая» газеты (и не сумев их закрыть), он выполнял только директиву находчивого министра-президента.

Увольняясь в отставку, Пальчинский кстати прихватил с собой и все свое «генерал-губернаторство». Этот почтенный институт был тут же упразднен, за явной ненадобностью. Но уход генерал-губернатора ознаменовался и еще одним, довольно комическим инцидентом. Пальчинский, с отставкой в кармане, задумал лягнуть петербургский пролетариат выражением ему своей всенародной благодарности. За что? За то, что тысячи рабочих в корниловские дни, с оружием и без него, потянулись на новый фронт, рыли окопы, возводили укрепления, готовы были грудью встретить врага. За то, что они стояли на страже революции и спасли ее... Вы только подумайте: без нескольких секунд корниловец Пальчинский всенародно об'являет за это свое спасибо петербургскому пролетариату, на дела которого смотрит с изумлением весь мир!..

Ну, а как же, кстати сказать, обстояло дело с закрытыми газетами? У нас все еще выходила «Сво-

бодная Жизнь» под редакцией Авилова, а «Рабочий» из существительного стал прилагательным к маленькому, чуть заметному «Путь». Горького в Петербурге все не было. И я давно хлопотал о легализации «Новой Жизни», — впрочем, в порядке телефонных переговоров с сановниками директории. Я убедился здесь, что порядка и деловитости не слишком много было в ее центральных учреждениях. «Настоящих» министров было всего пять человек, из коих один (Никитин) управлял почтой и телеграфом. Иные ведомства были без глав. Иные главы, не то были при ведомствах, не то пребывали где-то в пространстве... чуть не написал в прострации. Министерством внутренних дел, которое должно было ведать дела о печати, упрявлял некий Салтыков, социалдемократ из 2-й Гос. Думы — тоже, как видим, очень левый для Зимнего, совсем советский человек. Что́ ему было министерство, что́ он был министерству, — сказать не могу. Но во всяком случае при первом же телефонном разговоре Салтыков, даже несколько конфузясь, заявил, что легализация и свобода выхода всех газет сама собой разумеется. Однако, еще много дней я канителился с этим делом в ожидании формальностей. «Новая Жизнь» все еще была нелегальной и вышла в настоящем виде только 9 сентября.

Итак, Зимний как будто бы «полевел» вслед за демократией и обратил к Смольному свой благожелательный лик... Но увы! это, конечно, только на первый, невнимательный «безответственный» взгляд. Ведь не перестал же быть твердый, как скала, Керенский самим собою. Ведь не изменил же он своих отношений к «государственности», к своей «независимости», к кадетам, и к Советам. Ведь Ке-

ренского мы достаточно видели в самые дни корниловщины. И видели, как науськиваемый общенациональными кадетами, он начал активное наступление на демократию по миновании кризиса...

А между тем ясно, что директорией-то на деле был один Керенский, единомышленник Терещенки. Верховский и Вердеревский в политическом отношении были нулями и для министра-президента — подставными людьми. А левый Никитин, которого я — кстати — не видывал в глаза ни в Смольном, ни на партийных собраниях, ни вообще, — оказался в Зимнем совсем ручным зверем. Керенский и его пожаловал в директорию за полную безличность. А он с'умел даже показать кое-какое милое Керенскому лицо и быстро сделал карьеру...

Так или иначе, директория — это был Керенский. И по существу дела о полевении, тем паче о новых временах здесь, в Зимнем, речи быть не могло. Ведь не полевел же царь Николай II во время революции 1905 года, — он просто уступил силе обстоятельств, которые у него не спрашивали позволения. Не полевел и Керенский. А что было с ним, он сам хорошо выразил в «показаниях»: в после-корниловские недели ему пришлось, «стиснув зубы», смотреть на то, как нахлынувшей слева стихией разрушалась наша государственность.

У бутафорского самодержавия 1917 года еще меньше могло хватить сил бороться с этой стихией, чем у царя Николая в 1905 году. Но, разумеется, по мере сил Керенский выполнял свой долг и ставил подпорки нашей государственности. Мы уже видели его патриотическую попытку «пресечь» самочинство «частных» организаций и ликвидировать

военно-революционные комитеты. Другие дела директории делались иногда с бо́льшим, иногда с тем же успехом. Но они всегда были в том же духе. И все вышеописанные признаки «сдвига» были в действительности либо «недосмотром», либо стечением обстоятельств, либо дипломатической игрой. Недосмотром, и очень крупным, допущенным благодаря волевому импульсу, был шумный и энергичный Верховский; в этом можно убедиться и из дальнейшего хода истории, и из «показаний» министра-президента, который отзывается о своей злосчастной креатуре совсем не двусмысленно. Стечением обстоятельств было устранение Алексеева, который исключался всей об'ективной кон'юнктурой, несмотря на «волевой импульс» Керенского. Дипломатической игрой было удаление Пальчинского во внутренние покои, в качестве жертвы стихии.

Истинный же курс «стиснувшего зубы» премьера, воплощавшего директорию, был прежним и совершенно ясным после всего сказанного в предыдущей книге. Уместны будут лишь несколько маленьких иллюстраций — из крупнейших дел директории.

* * *

На другой же день ее правления в газетах появилось сообщение, в виде «слуха», что правительство переселяется в Москву. Идея, как мы знаем, была совсем не нова. Петербургский пролетариат — в революции, как и до нее — был опаснейший внутренний враг; а внешняя опасность после Риги, была хорошим предлогом. Керенский хорошо оценил

резолюцию петербургского совета от 1-го сентября. От большевистского города всенародной власти необходимо быть подальше. Правда, и Москва во время «госуд. совещания» показала себя не слишком благожелательно... Но все же.

Тема об эвакуации правительства на все лады трепалась несколько дней. А 7-го сентября ту же большевистскую резолюцию принял и московский совет. И древняя столица оказалась в руках большевиков. Бежать было некуда. Последовало опровержение «слухов»: никуда правительство не собирается.

Но тогда к тем же целям пошли иными путями. Вновь занялись и несколько недель влотную занимались опять все той же разгрузкой Петербурга. Нельзя убежать от врага, — так нельзя ли удалить врага? Дело было длинное, канительное, но мало успешное. Рабочие, под предводительством большевиков, давали решительный отпор — и в рабочей секции, и в правительственных учреждениях. Политическая подкладка предприятия разоблачалась быстро и легко. Выяснялась техническая невозможность и экономическая несостоятельность проекта. При этом вскрывалась масса пикантных деталей об ухищрениях и спекуляциях промышленных и банковских тузов... Разгрузка не вышла. Но в числе добрых намерений директории она занимает свое место.

Затем следует отметить эпизод с укреплением российской государственности среди окрестных народов, а именно в Финляндии. Мы помним историю с роспуском Финляндского сейма в июле. Этого урока показалось недостаточно и теперь были предприняты дальнейшие шаги к укреплению престижа

российской власти. На место М. Стаховича финляндским генерал-губернатором был назначен сам Некрасов — «с оставлением Стаховича Членом Гос. Совета» (вы понимаете?). Некрасов сейчас же об'явил журналистам свою «программу»: она заключалась в «последовательном и твердом отстаивании прав России — при благожелательном отношении к правам Финляндии». Генерал-губернатор прибавил, что эта линия «соответствует настроению широких общественных кругов и единственным исключением явилась резолюция Всероссийского С'езда Советов» (которую мы хорошо знаем).

Между тем, финляндский тальман назначил на 15-е сентября созыв новой сессии распущенного сейма. Предстоял неизбежный рецидив конфликта. В Гельсингфорсе собрался совет матросских и солдатских депутатов, с участием командиров русских частей, и постановили придерживаться своей старой резолюции о невмешательстве и об отказе служить орудием в руках великодержавной власти для репрессий против финнов. Положение Некрасова и всего нашего правительства было не то, что трудно, а неприглядно. Генерал-губернатор, однако, рискнул. Он приказал запечатать здание сейма. Этого было явно недостаточно, судя по прецеденту. Но большего он не мог сделать, а меньшего ни за что не хотел. В день созыва сейма печати, по приказанию тальмана, были без труда сорваны. Депутаты проникли в залу при помощи подобранных ключей, открыли заседание, приняли законы о правах верховной власти, об еврейском равноправии, о рабочем страховании, о 8-часовом рабочем дне. Всего заседали 35 минут, а затем разошлись, условившись вновь собраться по созыву

тальмана, независимо от распоряжений русских властей... Надо сказать, что в заседании участвовало одно левое крыло, социалдемократы. Буржуазные партии de verbo были лойяльны «верховной власти», а de facto хотели сорвать принятие одиозных законов. Впрочем, кворум был налицо, и постановления имели законную силу...

Опять-таки намерения директории были глубоко предосудительны; но возможностей осуществить их не было, и получился конфуз, как с разгрузкой, как с эвакуацией, как с роспуском военно-революционных комитетов, как с закрытием газет.

* * *

Однако, в конечном счете физиономию директории определяли не методы ее управления, а ее основное занятие в течение трех недель. Основным же ее занятием было конструирование нового правительства... Керенский, воплощавший» совет пяти, «стиснув зубы» смотрел на подготовку демократического совещания, которое должно было разделить его ризы. Но он, из преданности революции, конечно, и не думал уступать Смольному поле сражения. Керенский действовал. Своего любимого занятия он не оставлял ни на минуту, — с первого же момента создания директории, когда он, вопреки решению Ц. И. К., печатно заявил, что «правительство будет пополнено». Керенский действовал, — но только действовать ему приходилось с опаской и с оглядкой.

Самый факт этой деятельности министра-президента означал открытый конфликт со Смольным. Но не лишен интереса и самый ход дел... Прежде

всего надо отметить, что назначения, сыпавшиеся как из рога изобилия, касались не одних только министров. Формально Керенский, пожалуй, имел право жаловать посты вне кабинета. Но по существу...

Место начальника штаба верховного главнокомандующего занял ныне ген. Духонин, — о нем я не слышал и не читал ничего дурного. Но вот известный автор провокаторской телеграммы о потоплении неблагонадежных кораблей — капитан Дудеров, разоблаченный нынешним министром Вердеревским. Этого господина Керенский произвел в адмиралы и назначил на важнейший пост в Японию... Еще более кричащим и бьющим по нервам демократии было назначение кадета Маклакова. Этот правейший кадет и заведомый активный корниловец получил пост нашего посла в Париже. Комментарии тут излишни. Но эта наглость, впрочем, даром не прошла. Левая печать, при моем личном участии, выпустила такой залп по избраннику, а особенно по избравшим, что назначение было тут же взято обратно. И даже раз'яснено: в виду несочувствия левых элементов.

Но главное дело было в новых министерских комбинациях. Стиснувший зубы премьер на об'яснения со Смольным не решался. Но демократическое совещание он обязательно должен был поставить перед совершившимся фактом. Только действовать надо тонко и дипломатически. К тому же ведь дипломатия требовалась и налево, и направо. Вся буржуазия, в лице члена директории Терещенко, требовала, чтобы новое правительство было создано именно до демократического совещания, именно независимо от смольных сфер. Тере-

щенко, на этой почве, даже продемонстрировал свою отставку. А это уже было немыслимо. Что̀ стало бы с Россией?

Для начала были привлечены либеральные профессора Салазкин и Бернацкий. Так как правил «совет пяти», то приглашенные лица как бы не были в правительстве; но вместе с тем они как бы были в правительстве. Между прочим, этот Салазкин, долженствовавший управлять просвещением (Бернацкий — финансами), по непонятной причине, распорядился закрыть все высшие учебные заведения на текущий учебный год. И студенты, и преподаватели выносили многочисленные резолюции протеста.

Затем, 6-го числа, когда Керенский был в Ставке и наблюдал за ходом корниловского дела, из Москвы был вызван известный нам Малянтович для занятия поста министра юстиции. Это был «социалдемократ», а не какой-нибудь цензовик. Ну, что же может иметь против Смольный, если он будет назначен до демократического совещания? Малянтович уже был чуть-чуть не распубликован. Но подоспели люди из звездной палаты и пресекли эту операцию. В газетах вместо указа о назначении появился рассказ о неудачном покушении. Рассказ этот нисколько не увеличивал престижа верховной власти.

Но что же ей было делать? Надо продолжать. Министр почт и телеграфа Никитин, во-первых, тоже социалдемократ, во-вторых, не новый человек, а член директории. Не сойдет ли его назначение министром внутренних дел, если с Кишкиным дело безнадежно?.. Эта комбинация удалась. Один из важнейших постов в кабинете был замещен не-

зависимо от Смольного. И Никитин на другой же день оправдал себя «в общественном мнении». Именно в это время московский губернский комиссар Кишкин был вынужден к отставке — после конфликта с московским советом, которым овладели большевики. В ответ на телеграмму Кишкина новый министр внутренних дел послал ему трогательную, но настойчивую просьбу остаться на посту; при этом министр подчеркнул высокополезную деятельность, на благо республики, издавна одиозного демократии Кишкина...

Удача с назначением Никитина придала смелости министру-президенту. Быть может, тут даже помог уход — не то что из правительства, а из Зимнего дворца — последнего, совсем не политического и в кабинете ни на что ненужного кадета, святого Карташова; он демонстративно с выгодой для Керенского мотивировал свой уход «ясно определившимся засильем социалистов и невозможностью подлинной коалиции».

Так или иначе, прибыв из Ставки 12 сентября, первый директор повел дело быстрым темпом и притом гораздо дальше, чем можно было даже ожидать. Правда, тут же ночью он призвал во дворец людей из звездной палаты, своих партийных товарищей, Зензинова, Авксентьева и Гоца, и долго уламывал их дать ему свободу. Но эти благожелательные люди ни с какой стороны не были правомочны сказать премьеру что-либо утешительное. Между тем, Керенский еще до приглашения эсеров, вызвал из Москвы тамошних кадетов и биржевиков для переговоров с ним о власти. Газеты кстати сообщили, что переговоры эти Терещенко вел перманентно с первого дня директории.

Г. г. Кишкин, Бурышкин, Коновалов, Третьяков, Смирнов — пожаловали в Петербург 14-го числа и немедленно имели совещание в Зимнем. Еще один знаменитый московский туз, Четвериков, также был приглашен, но не пожаловал. Но, помилуйте, и без того революция еще не видела в правительстве такого букета! В первом чисто буржуазном кабинете, наряду с профессорами, интеллигентами и мечтательными кающимися дворянами, были из биржевых тузов только Гучков и Терещенко, — да еще Коновалов с былым его благодушием и нерастраченным пиететом к революции. Теперь, в дополнение к интеллигентам и профессорам, нам предлагали пятерых озлобленных и жгуче-ненавидящих корниловцев-Гучковых — прямо с биржи. Этого мы еще не видели.

В утреннем совещании 14-го числа Керенский об'яснил приглашенным, что он намерен создать коалиционное правительство, не исключая, конечно, кадетов. Биржевики, за которыми так бегали, несмотря на все трудности и даже опасности, видимо проявили большую сдержанность и солидность. Они немедленно пред'явили свои «условия»: 1) они разговаривают с Керенским, как с независимым представителем и главой верховной власти, 2) правительство также должно быть безусловно независимо от всех «безответственных групп», 3) оно должно об'явить решительную борьбу всем проявлениям анархии и 4) не останавливаться ни перед какими мерами для восстановления боеспособности армии... Об'явив это, промышленники отбыли в центр. комитет кадетской партии. А Керенский пригласил их вечером вторично прибыть в Зимний дворец.

Так судили-рядили Керенский с Терещенкой наши судьбы. Тут, казалось бы, не все должно быть ясным и самим московским тузам: именно в тот же день, 14 сентября, в газетах было распубликовано об окончательном и формальном назначении правомочными министрами Салазкина и Бернацкого. Такие проявления «личного режима», или, попросту, такая степень самодурства потрясла даже убогий «День», казалось, ничего не слышавший из-за собственных воплей о том, что «вне коалиции нет спасения». «День» об'явил, что он больше не может переносить этого издевательства, этой пляски теней в залах Зимнего, от которой в мозгах мутится. И он требовал ...такого же совещания всех государственных партий, какое состоялось в Малахитовом зале в ночь на 22-е июля, перед созданием третьей коалиции. Но увы! и от этого после-июльского эпизода прошла целая эпоха разложения и упадка демократии.

Самое пикантное было в том, что всенародные сношения с кадетами и банковскими воротилами возобновились за сутки до открытия демократического совещания. А утреннее заседание с промышленниками кончилось ровно за полчаса до него. Вечерний визит промышленников был назначен вне всякой зависимости от того, что произойдет на «полномочном» С'езде. А на слеующее утро дележ его риз продолжался в Зимнем, как будто бы этого С'езда Совсем не существовало в природе...

Утром 15-го Керенский бросался портфелями вне всяких границ рассудка и корректности — одинаково занятыми и свободными. Кадеты и промышленники наседали. Их единсое естество тут нечего и комментировать: даже формально почти все промы-

шленники были кадетами. Даже и Коновалов, снова кандидат в министры, но уже не с пальмовой ветвью, а с камнями в руках, в кармане и за пазухой, — даже и он теперь вступил в кадетскую партию... Однако, желая кого то обмануть в союзе с Керенским, промышленники и кадеты действовали в качестве двух различных групп, из которых каждая добивалась почтенного веса в правительстве. Торговались, как на бирже, не желая «ограниченного числа мест» и отвергая «второстепенные посты». Снова излагали в вариантах свою программу диктатуры плутократии и корниловского переворота... Оказавшийся налицо социалдемократ Малянтович заявил, что он присоединяется к программе, развитой промышленниками. Да и вообще все шло успешно. Дело обещало наладиться в два-три дня. Остановка была не за Керенским, а за промышленниками, которые отложили окончательный ответ до об'яснений с торгово-промышленными организациями. С своей стороны, некоторые члены директории подчеркивали, что переговоры ведутся вне всякой зависимости от хода работ демократического совещания, и задержка об'ясняется отнюдь не ожиданием его результатов...

О том, что из всего этого вышло, речь впереди. Но вот каков был, в действительности, Зимний после корниловщины. Тут никакого сдвига, как видим, не было. Если угодно — напротив. После-корниловский сдвиг демократии и огромное усиление большевиков — заставили Керенского и его клику теснее прижаться к корниловцам и биржевикам. Они, все вместе взятые, были совершенно беспомощны и бессильны. Но они одинаково впали в панику и ощетинились все вместе — для защиты государствен-

ности от «грядущего хама». Зимний дворец со всем его содержимым был пустым местом, ровно ничего не значащем в жизни России и в ходе революции; он был стеклянным колпаком, который изолировал какие-то надутые марионетки от прочего стомиллионного населения и от творящих историю масс. Но он, этот Зимний дворец, теперь, в после-корниловской атмосфере, был злобен и нагл, как никогда.

* * *

Разумеется, среди «наблюдений» за делом Корнилова, среди «комбинаций» защиты государственности было некогда и не было возможности думать о стране. Никакого управления, никакой органической работы центрального правительства не было, а местного — тем более. Какая тут органическая работа! Министров нет, либо не то есть, не то нет. А когда они есть, от этого не лучше. Кто из населения признает их? Кто из сотрудников им верит? Ни для кого не авторитетные, ни к чему не нужные — они дефилируют и мелькают, как тени под презрительными взглядами курьеров и писцов. А их представители, их аппараты на местах — о них лучше и не думать. Развал правительственного аппарата был полный и безнадежный.

А страна жила. И требовала власти, требовала работы государственной машины... О земельной политике теперь не было и речи. Даже разговоры о земле застопорились на верхах, в то время, как волнение низов достигало крайних пределов. В Зимнем дворце даже не было и ответственного человека, не было министра; а по России катилась волна

варварских погромов, чинимых жадными и голодными мужиками...

С продовольственными делами было не лучше. В Петербурге мы перешли пределы, за которыми начался голод со всеми его последствиями. Но никакого выхода не виделось в перспективе... Органическая работа была нулем; но политический курс давал отрицательную величину. Не нынче завтра армия должна была начать поголовное бегство с фронта, ибо голод — прежде всего. Во всех промышленных центрах, особенно в Москве, не прекращались забастовки, в которых по очереди участвовал, кажется, весь российский пролетариат. Положение на железных дорогах становилось угрожающим. Движение сокращалось от недостатка угля. И железно-дорожная забастовка, несмотря на все усилия Гвоздева и Богданова, министерства труда и Смольного, была признана уже непредотвратимой: рабочие требовали хлеба насущного... Что могла ответить на это верховная власть?

В бюро Ц. И. К. лойяльнейший и правый меньшевик Череванин держал тоскливую, жалобную речь, что наш высший экономический орган, Экономический Совет, давно перестал собираться и как будто почил смертью праведных. Было не до него... Вся пресса, сверху донизу, в разных аспектах, с разными тенденциями и выводами, но одинаково громко и упорно, вопила о близкой экономической катастрофе.

Чисто административная разруха также была свыше меры. Там, где в корниловщину возникли бойкие военно-революционные комитеты, уже не было речи о законной власти, действующей со-

гласно общегосударственным нормам и директивам из столицы. Но и там, где положение было «нормально», также не осталось ничего от того уклада, того порядка, той государственности, которые якобы воплощал Керенский в Зимнем дворце. О независимых большевистских республиках теперь не столь много кричали не потому, чтобы их не было, а потому, что теперь они не были сенсацией и уже набили оскомину. Ровно ничего тут коалиция Керенского поделать не могла.

* * *

На юге же тем временем разыгрывалась комедия с казаками и с доблестным их атаманом Калединым. В дни корниловщины, как нам известно, было получено известие, что донские казаки «отложились», и Каледин поднял восстание на поддержку Ставке. Газеты сообщали, что Каледин собирается отрезать весь юг, с Донецким бассейном, занять узловые станции и чуть ли не двинуться с казачьей армией на Москву. Военно-революционный комитет, вместе с жел. дор. союзом, приняли свои меры, чтобы помешать передвижениям. «Законная власть» отдала приказ арестовать Каледина. Но ее не послушали. Завязались переговоры по прямому проводу. С юга уверяли, что слухи о мятежных действиях и планах лживы и провокационны, но весь славный Дон, от мала до велика, стоит за атамана Каледина: арестовать его и сместить нельзя, ибо он лицо выборное. Он даст отчет «казацкому кругу», на днях собираемому, а также для дачи показаний готов явиться и в Могилев. Хотя лучше бы эти показания дать тут же, на Дону.

Казачий войсковой круг заседал в Новочеркасске, в количестве 400 человек, в начале сентября. Для участия в сессии из Москвы и Петербурга было послано несколько почтенных лиц от демократии, и даже сам Скобелев от Ц. И. К. Их принимали не очень хорошо. Большинство горой стояло за Каледина. Но все выслушали обычные речи без крупных инцидентов. И с миром отпустили, подтвердив все то, что говорили по телеграфу.

В некоторых активных попытках Каледина поддержать Корнилова сомнений быть не может, так же, как в его огромном влиянии среди казачьих верхов. Корниловское движение среди этих верхов, несомненно, было очень сильно. Может быть, и были предприняты некоторые самочинные операции — некоторыми командирами и самым Калединым. Но картина локализации Корнилова и его молниеносный крах — разбили эти попытки и рассеяли движение раньше, чем что-либо успело оформиться. Казачьи низы во всяком случае не были сдвинуты для похода против «законной власти». Опасность корниловщины на юге быстро рассосалась и пока не имела серьезных последствий. При буржуазной коалиции, да к тому же бессильной, нереальной, существующей в абстракции — время казачьей вандеи еще не приспело. Однако, все же нельзя сказать, чтобы подобный эпизод совершенно неспособен характеризовать собой наш порядок и нашу государственность того времени.

* * *

Но главное, самое главное, заключалось, конечно, в делах войны... Положение на фронте после

рижского разгрома, по общему признанию, стало более или менее устойчивым. Армия, насколько было можно, оправилась, закрепилась на новых позициях, и ее дух все еще кое-как держался. Так или иначе, она попрежнему удерживала на русском фронте, в интересах доблестных союзников, огромную долю германских вооруженных сил. Однако, брожение в армии после корниловщины было огромное. Ни масса, ни комитеты больше не могли верить командному составу. При данном ее состоянии армия не была надежной; она была безнадежной.

Корниловские дни, когда можно было пожать небывалые военные лавры, немцы почему-то упустили. Не то прозевали, не то не хватило сил. Но в начале сентября они возобновили наступление на северном фронте и снова заняли ряд пунктов. Военное положение снова стало угрожающим и заставило кричать о себе... Что мы не можем воевать и выдержать зимнюю кампанию по всей совокупности обстоятельств, казалось, было ясно всякому ребенку.

Основной проблемой нашего государственного и революционного бытия было попрежнему немедленное заключение мира. Но надо ли говорить, что о мире, как о прошлогоднем снеге, забыли в Зимнем, потому что забыли в Смольном?.. Правда, именно в эти дни разговоров о мире было не мало. Но говорили по особому поводу и под особым углом зрения.

В эти дни святейший папа, конечно в силу своих христианских обязанностей и таковых же добродетелей, опять обратился с нотой к воюющим державам и призывал их кончить кровопролитие. Германский союз вскоре официально ответил на эту

ноту... в обычных нечленораздельно-дипломатических, но в общем благожелательных тонах. Союзники же как всегда дипломатически огрызнулись. Подобные выступления, как мы знаем, бывали не раз; и теперь, как прежде, они привести ни к чему не могли, так как немецкие каннибалы непременно желали всеобщего брестского мира, а англо-французские — версальского.

Однако, на этот раз вся эта история имела особый смысл. Нота папы имела целью создать почву для новой мирной ориентации воюющей Западной Европы: тогдашняя победительница Германия, не обижая стран согласия, может и должна быть компенсирована за счет России. Союзники официально сделали вид, что они шокированы. Но их влиятельная пресса соблазнилась и начала разрабатывать эту тему — и на континенте, и за проливом. Это было не очень серьезно. Ведь не могли же, в самом деле, союзники отказаться от мысли о полной ликвидации Германии, как могучей экономической державы. Не могли они всерьез думать в те времена о полюбовном разделе, да еще об усилении ее на востоке... Но отчего же не попугать лишний раз Терещенко, Милюкова и самого первого директора? Отчего же не сорвать зло за неудачу? Ведь только что союзная печать дружно и восторженно приветствовала патриотический мятеж Ставки и биржи. Надо же возместить себя за конфуз...

Но наши патриоты сделали вид, что они всерьез поверили опасности. Начались вопли о мире за счет России — даже с «дипломатическим» нарушением пиетета по отношению к союзникам. И все это производилось с одной целью — посрамления и уничто-

жения тех, кто «даже теперь бесстыдно твердит о мире».

Дело мира было теперь в положении совершенно безнадежном. «Стокгольм», если даже считать его серьезным фактором мира, потерпел крах. И потерпел он крах именно в силу падения русской революции, которая, в действительности, была единственным огромным фактором мира. Не только Стокгольм, но и все мирное движение европейского пролетариата было обеспложено в результате измены русской революции. Это м ы — не выполнили своих обещаний и погубили своими руками дело всеобщего демократического мира.

В начале сентября из долгих и дальних странствий вернулась наша заграничная советская делегация. Результаты ее странствий и добросовестных трудов, равные нулю, были налицо. При данном об'ективном положении в России и в данном своем составе, делегация и не могла ничего сделать. Европейские социал-патриоты вообще не хотели слушать о мире. Европейские социалистические м е н ь ш и н с т в а и ц и м м е р в а л ь д ц ы естественно стояли перед вопросом: где же, славные русские товарищи, ваша собственная начатая и обещанная впредь борьба? почему мы ее не видим? почему мы от вас ничего не слышим кроме призывов? не пали ли вы сами с необ'ятной высоты вашей «революционной силы» в грязное болото самого дрянного оппортунизма? не барахтаетесь ли вы, герои, в цепких руках вашей империалистской буржуазии, которой вы недавно диктовали свою волю? чего же вы хотите от нас, еще придавленных вековым гнетом?..

На эти вопросы не могло быть ответа у нашей

делегации. Мы могли все и не сделали ничего. Мы взялись вести и — скрылись в первую подворотню. Нашей делегации было нечего делать в Европе.

Числа 8-го от ее имени знакомый нам Эрлих делал длинный доклад в бюро Ц. И. К. Доклад изобиловал интереснейшими деталями, но был, в сущности, историей неудач. Прений почти не было — только вопросы. Я был полон величайшего негодования и не мог удержаться от злобных и презрительных замечаний. Весь доклад, на мой взгляд, был жесточайшим обвинительным актом против предательского советского большинства... Но нет! находились люди, и Эрлих в том числе, которые данное положение дел, обрисованное в докладе, приписывали именно циммервальдцам из советской оппозиции. Я недоумевал, как же это так рассуждают люди. Очевидно, я был наивен. Рассуждали!..

12-го тот же Эрлих делал свой доклад уже в публичном пленуме Ц. И. К. в Большом зале. Но это была больше политическая речь — все с теми же назиданиями, все с той же философией капитуляции. Практически — Эрлих, конечно, предложил новое воззвание к европейскому пролетариату. Боритесь, пока мы герои и гегемоны будем поддерживать Терещенко в его прежней войне ради прежних целей. Да, — рассуждали!..

Так жили-были мы после корниловщины, под мудрым правлением «совета пяти».

---

3. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Первый подлог звездной палаты. — Зачем собирают «совещание»? — Как наилучше подтасовать его? — Окончательный состав Совещания. — Оно представляет несколько миллиардов населения. — Буржуазия предрекает провал своему кровному делу. — Движение провинции. — Смольный о совещании и коалиции. — Петерб. совет избирает делегацию: Ленин и Зиновьев. — Ц. И. К. удержал коалицию на ниточке. — Но коалиция оказалась без кадетов. — Наши экономисты. — Неограниченный «совет пяти» о дем. совещании. — В «куриях» и во фракциях. — Земляки подвели Церетели. — Совещание открыто. — Керенский защищается. — Жалкое зрелище. — Первые речи. — Соотношение сил не ясно. — Снова по фракциям и «куриям». — Новое покушение Ленина? — Церетели борется беззаветно за свою прекрасную даму. — Церетели проваливается у меньшевиков. — Трюк звездной палаты: выступления бывших людей. — Церетели промахнулся. — Сонная одурь. — Советские декларации. — Заблуждение или обман? — Три кита совещания. — Речь Троцкого. — Классический образец. — Чем богат Церетели. — «Решительный момент». — Голосование. — Нет большинства. — Коалиция без кадетов. — Провал совещания. — Что делать?

«Демократическое совещание» должно было собраться 12-го, но было отложено до 14-го сентября. Это должен был быть большой С'езд, для которого долго искали помещения и наконец остановились на Александринском театре.

31-го августа Ц. И. К. постановил созвать демократическое совещание с целью окончательного и авто-

ритетнейшего решения вопроса о власти. Надо, однако, отметить, что наши звездные дипломаты остались верны себе. В официальном приглашении провинции они, на всякий случай, прибавили немножко (да и не настолько мало, чтобы это было лойяльно) воды и неопределенности к этой довольно точной формуле. Они телеграфировали: Ц. И. К. постановил «собрать все силы страны, чтобы организовать ее оборону (?), помочь в ее внутреннем строении и сказать свое решающее слово в вопросе об условиях, обеспечивающих существование сильной революционной власти» (?!). Это было немножко не то... Но значения это не имело. Все знали, что в программе Совещания один единственный пункт, и говорить будут только за и против коалиции. Практически, вопрос заключался только в правомочиях: будет ли собрание «учредительным» и источником временной власти или будет «совещательным», призванным вынести авторитетное, но не обязательное решение. Однако, эта сторона дела уже зависела всецело от самого собрания и от соотношения сил. Если Ц. И. К-ту было угодно признать демократическое совещание более авторитетным, чем самого себя, то Совещание само и определит свои полномочия, смотря по ходу дел.

Но, стало быть, тут приобретает особое значение состав С'езда. Состав определял всю политическую роль совещания. Но именно потому то он и был нарочитый. Ведь старые советские лидеры именно за этот состав желали спрятаться от советской демократии и даже от самого ненадежного Ц. И. К. Понятно, что звездная палата постаралась.

Формально на «Совещание» должны были явиться

все те демократические организации, которые месяц назад в Москве подписались под дрянной декларацией, оглашенной Чхеидзе от имени «об'единенной демократии». Главным весом в этом конгломерате пользовались кооператоры и представители городов и земств. Те и другие стояли далеко **н а п р а в о о т с о в е т о в** — особенно от нынешних. Это и соблазняло советских лидеров, уже висевших в воздухе.

Но дело то в том, что на московском совещании — сначала с'ехались, а потом политически об'единились. Здесь же **п р и г л а ш а л и** по политическому признаку. И, разумеется, получился nonsens — и практический, и «государственно-правовой». Прежде всего — на предмет совершения совсем неподходящего для них акта, нелойяльного правительству и даже революционного — приглашались земства и города. Кем приглашались эти **г о с у д а р с т в е н н ы е** учреждения? Частным органом — Советом. **Д л я ч е г о** приглашались они, без санкции правительства? Для того, чтобы **р е ш и т ь с у д ь б у** этого правительства. Тут дело было не в порядке... Но сами муниципалитеты, с своей стороны охотно пошли на «совещание»; мало того, признав себя важнейшими организациями демократии, они потребовали себе половины мест.

Но, разумеется, начав приглашать по политическому признаку, мы должны были залезть и в дальнейшие дебри. Если пригласили тех, кто фактически подписался под декларацией Чхеидзе, то почему не пригласить и тех, кто **м о г** бы под ней подписаться? Ведь нет никаких оснований пригласить просто **ч а с т ь М о с к о в с к о г о С о в е щ а н и я**... С другой стороны, длинный ряд всяких «де-

мократических организаций», руководствуясь именно этим, усиленно добивался участия в С'езде. В результате, на каждом заседании бюро Ц. И. К. приходилось возвращаться к составу Совещания и дополнять его все новыми и новыми учреждениями или корпорациями.

Конечно, главным образом, неразбериха и бессмыслица создавались за счет «трудовой интеллигенции». На Московском Совещании были почтово-телеграфные, торгово-промышленные служащие, учительский союз и, кажется, журналисты. Но где основания обойти врачей? Почему миновать адвокатов? А когда допустили врачей, то решительно потребовали мест фельдшера и фармацевты. Разве они не демократическая организация? Фармацевтов допустили, но акушеркам отказали. И получили ядовитейшую отповедь в «Речи» за подписью «обиженная акушерка»... Печать начала издеваться напропалую. Спрашивали: почему, чорт возьми, нет персонала родовспомогательных заведений, а также — где охотничьи клубы? Разве там нет добрых патриотов? Должно быть Совет, как в сказке, хочет того — не знает чего, идет туда — не знает куда.

В конце концов были утверждены такие нормы представительства: от всех **советских** организаций центральных и местных, рабоче-солдатских и крестьянских 300 голосов; от проф.-союзов — 100; от земцев и городов — 500; от кооперативов — 150; от жел. дор. и почтово-телеграфных работников 35; от продовольственных, земельных и других экономических органов — 50; от фронта и тыловых частей — 150. Затем шли мелкие группы — врачи, журналисты, казаки, увечные воины, православное духовенство и прочее, и прочее.

Центр абсурдности тут заключался в том, что все эти «курии» или по крайней мере крупнейшие из них находили одна другую; а каждый член Совещания — обладатель решающего голоса — мог быть одновременно членом большинства «курий». Так напр., известный нам Ф. И. Дан, был врач, находящийся на военной службе (по случайности, правда, не увечный), много лет состоящий в журналистах, виднейший советский деятель, гласный Городской Думы, конечно, причастный и к профессиональным, и к кооперативным органам. Другими словами, на высокополитическом собрании, к которому очень часто применяли тогда название «конвента», — одно и то же население, ради искусственной комбинации голосов было представлено во многих видах... А если бы собрание было составлено «честно», на обычных основах политического представительства, если бы каждая «курия» исключала другую, то демократическое совещание, очевидно, представляло бы собой несколько миллиардов населения. Так подсчитывал и гремел Рязанов в заседаниях «бюро».

Подбор организаций, названных выше, уже сам по себе достаточно определял физиономию «совещания». Всего решающих голосов было 1425. Из них 500 муниципальных голосов, плюс 150 кооператоров, плюс 30 торгово-промышленных служащих, плюс офицеры, увечные, некий «крестьянский союз» и «советские комиссары», а всего 52, — уже создавали, как будто большинство для Терещенки и Церетели... Новые земские и городские деятели это были обыватели, нахлынувшие к эсерам и избранные большею частью в после-июльские дни. «Кооператоры» были уже совсем реакционные лавоч-

ники под стать кадетам, — за исключением небольшой группы «рабочей кооперации». Остальные названные группы были того же поля ягоды...

Но не все члены?.. Конечно, не все. Однако, и в других больших «куриях» не все были на стороне левых. Ведь в огромной советской «курии» половина была хорошо известные нам мужички; да и рабоче-солдатский Ц. И. К., как мы знаем, только бродил, но еще не отказывал в верности Терещенке и Церетели...

Нет, больших неприятностей для Зимнего тут быть не могло. На то и подбирали в Смольном, не боясь ни глупого, ни смешного. Но для наивных газетчиков, служащих перепуганной буржуазии, все же результаты были не ясны. Да, и действительно!.. Всякое могло случиться в наше время.

Этого было достаточно, чтобы волноваться, глубоко ненавидеть и неистово злобствовать. Глупцы! Ведь это ваше собственное дело!..

* * *

С'езду предшествовало значительное оживление во всех слоях общества. Всевозможные организации, учреждения и корпорации обсуждали свое отношение. Вопросов было два. Во-первых, принимать ли участие в этом предприятии Смольного. Во-вторых, с какой платформой, то-есть попросту, за коалицию или против нее.

Вся буржуазная часть общества, с ее прессой, была вообще настроена против этой затеи крайне резко. Тысячеголосые газеты ежедневно предрекали Совещанию «позорный провал» — не ясно, в

каком именно смысле. По своему чисто формальному признаку, затея была действительно революционная...

Во многих учреждениях, приглашенных на «конвент», играли видную роль и кадеты. По этому случаю Центральный Комитет кадетской партии опубликовал свое постановление: участие членов партии на С'езде, а равно и в выборах является крайне нежелательным, ибо, во-первых, уже было Московское Совещание, во-вторых, ныне собираются лишь группы, разделяющие декларацию Чхеидзе, в третьих, стало быть, осведомительная роль «совещания» будет недостаточной, а для решающей оно неправомочно...

К такой позиции в общем примкнули и крайние правые фланги советских партий — эсеры из «Воли Народа» и «социалдемократы» из «Дня». Они же пытались вдохновить и кооператоров. В один прекрасный день «Речь» с восторгом сообщила, что кооперация не будет участвовать в С'езде. Но это был бы действительно скандал. Что стал бы делать Церетели без этих кадетских оруженосцев? На кооперативном с'езде в Москве, в начале сентября, кооператоры, однако, сменили гнев на милость. Разумеется, своим представителям они строго наказали стоять за коалицию — да и присматривать за тем, чтобы частное совещание не брало себе воли.

Отказались явиться адвокаты, — не знаю, приглашали ли их. Казаки, обсуждавшие дело под председательством знаменитого Дутова, поставили свое решение в зависимость от того, как официально отнесется к С'езду Вр. Правительство... Вообще, среди промежуточно-обывательских групп повсюду шли собрания и выносились резолюции по высокой

политике. Для истории, например, далеко не безразлично, какую позицию заняли зубные врачи: так я могу сказать, что большинство их, даже огромное большинство высказалось за коалицию.

Отказы участвовать в С'езде слышались не только справа. Напр., большевистский совет гор. Луганска телеграфно известил, что свое участие, равно как и все предприятие, он считает совершенно лишним.. Но в общем отказов было очень мало, хотя «Речь» и уверяла, что «совещание» отвергает «треть России»...

Напротив, была масса протестов со всех концов по поводу странной организации Совещания. Одни требовали просто-на-просто с'езда советов, другие телеграфировали о необходимости разумного представительства. Профессиональные союзы протестовали против ослабления представительства пролетариата.

Во всяком случае интерес был довольно большой. Устно и печатно судили и рядили враги и друзья. Обывателя, втянутого в политику, до крайности, волновали вопросы, будет ли большинство у Ленина, как оно стало в советах? Ну, а что будет, если у него будет большинство? Ведь все равно советские лидеры, бывшие министры-социалисты и их друзья, от этого не изменятся. А они до сих пор стоят за коалицию и за буржуазию. Церетели только что сказал, что чисто демократическая власть была бы безумием. И Авксентьев к нему вполне присоединился. Как же «демократическое совещание» при таких условиях возьмет власть? Нельзя же без лидеров образовать противное их духу министерство? Стало быть, либо коалиция, либо большевики. Ну, а ведь не испугались же

вчера покушения справа. Дадим завтра отпор и налево... Так судил и рядил обыватель, при содействии своей прессы, накануне С'езда.

* * *

Советские органы, подобно всем другим, имели специальное суждение о платформе для своих делегатов. Мы уже знаем, что фракции Смольного в начале сентября заседали о коалиции. И коалиция в Смольном, вообще говоря, висела на волоске. Но все же висела... Рецептов во всех фракциях (не говорю о большевистской) был целый калейдоскоп. Одни были за коалицию «всех живых сил», другие — кроме кадетов, третьи — кроме кадетского центр. комитета, четвертые — за коалицию на опеределенной платформе, пятые — за коалицию, ответственную перед советами, шестые за коалицию, ответственную перед демократическим совещанием, седьмые за коалицию, ответственную перед особым предпарламентом, насчет состава которого были «существенные» разногласия.

Но все это проявлялось только в ораторских речах. Голосования же производились только за и против коалиции; а когда не было определенного большинства, то на помощь привлекалась — «коалиция, но без кадетов»... Любуясь этим разбродом мнений в Смольном, буржуазная печать с удовольствием предвосхищала, что на демократическом совещании, пожалуй, нельзя будет создать никакого большинства, и оно кончится ничем. Оно уже отцвело, не успев расцвесть, — кричали газеты,

указывая на нудную и бесплодную толчею в Смольном.

В пленуме петербургского совета вопрос о Совещании обсуждался 10 и 11 сентября. Его судьба здесь была предрешена вполне. Большевистское большинство было, правда, еще сомнительным (несмотря на ликвидацию президиума, состоявшуюся вчера); но из меньшевиков преобладали интернационалисты, а эсеровская фракция только что вынесла постановление — против коалиции. Тут уже прениями в пленуме не поможешь. Но все же прения были горячи. За коалицию выступал Дан, против него, с блестящей филиппикой — Троцкий.

— Вам протягивают руку с двух сторон, — кончает он, обращаясь к капитуляторам, — решайте же сами, с кем вы, с рабочим классом, или с его врагами.

От эсеров выступил левейший человек — с резолюцией, которая, по словам Каменева, ничем не отличалась от большевистской. Коалиция была отвергнута всеми против 10, при 7 воздержавшихся. Кроме того, в резолюции, принятой двумя третями голосов, содержится, в качестве наказа делегации, известная нам большевистская программа; затем в ней имеется очень удачное резюмэ наличной политической кон'юнктуры; и, наконец, — требования создания власти «из уполномоченных представителей рабочих, крестьянских и солдатских организаций (не только советов), под контролем которых эта власть должна работать до Учр. Собрания».

Надлежало избрать делегатов на демократическое совещание. Фракции были полномочны назвать кого им угодно. Володарский, от имени большеви-

ков, назвал Ленина и Зиновьева. Поднялся неистовый шум и протесты — увы! — со стороны ничтожного меньшинства.

Ух, — как раз'ярилась буржуазно-бульварная пресса! С одной стороны — наглый вызов, пощечина, которой не в состоянии перенести русское общество. Розыскать, арестовать, посадить! Да и получены достоверные сведения, что Ленин приехал из Финляндии и сейчас здесь, в Петербурге... С другой стороны — caveant consules, спасайте же, смольные люди, — Ленин идет, уже слышен разбойничий посвист, уже дрожит мать сыра земля от топота дикой пугачевской рати. Ведь демократическое совещание — это от Ленина, это для Ленина, это — сам Ленин. Спасайте!

Спасти-то — как спасешь, если осталось 10 голосов при 7 воздержавшихся? Но верховная власть все же бестрепетно исполнила свой долг. Министр внутренних дел отдал приказ и просмаковал его в печати: арестовать Ленина в сей же час, как только кто-либо его увидит. Правильно! Это не Каледин, а демократическое совещание — не войсковой круг донских казаков... Газеты же гадали: явится или не явится?

* * *

Затем 12 сентября, после доклада Эрлиха, вопрос о демократическом совещании был поставлен и в Ц. И. К. Здесь было так скучно и бледно, что не на чем остановиться. Все было сказано во фракциях. Но каковы результаты. Заседание было очень многолюдно, все силы были мобилизованы.

За коалицию было 119 голосов, против 101. Еще на ниточке висела!.. Один член Ц. И. К. воздержался. Это был лидер третьей части эсеровской партии, Виктор Чернов.

В эту счастливую ночь из Ставки приехал Керенский. По его вызову, Зензинов и Гоц поскакали и Зимний с радостной вестью. Но боюсь, не поспешили ли они. Богданов внес поправку: коалиция, но без кадетов. Либер внес поправку к поправке: коалиция, хотя бы и с кадетами, но без членов центр. комитета кадетской партии. На уловку Либера не пошли, но поправку Богданова с удовольствием приняли. Прошла коалиции без кадетов.

Однако, и уловка, и поправка были обе довольно глупы. От хорошей жизни таких не предложишь и не примешь. Церетели раз'яснил, что без кадетов это и значит без коалиции... Хочу того — не знаю чего, иду туда — не знаю куда. Что же делать? Не сладить было мамелюкам ни с ситуацией, ни с самими собой...

В заключение, от имени большевиков выступил Карахан. Обратим внимание на его заявление. Он напомнил о том, чего не забыть некогда условились и мы: что Первый Всероссийский С'езд Советов поручил Ц. И. К. созвать второй С'езд через три месяца, то-есть в начале сентября. Но Ц. И. К. об этом не думает. Вместо того он прячется от советов за странный конгломерат, нарочито собранный с бору, да с сосенки... Карахан заявил, что волю подлинной демократии может выразить только советский с'езд, который, согласно постановлению высшего советского органа, и должен быть созван немедленно, еще до демократического совещания. Заявление было «внеочередным», не обсуждалось и

не голосовалось. Напрасно! Звездная палата и ее мамелюки прикусили язычки. Возразить было нечего. Только один нашелся: потребовал занести в протокол, что большевики своим заявлением наносят оскорбление отечественной кооперации, новым земствам и городам. О, преторианцы Церетели это не краснобаи, а люди дела!

На демократическое совещание возлагал коекакие надежды экономический отдел Ц. И. К. Может быть, потому, что все надежды его иссякли, и больше некуда было обратить взор. «Регулирование промышленности» не пошло дальше проекта сахарной монополии, никогда не осуществленного. «Совет с'ездов представителей промышленности и торговли» занимался исключительно вопросами о прижиме рабочих. Правительство не делало ничего. А Ц. И. К. поддерживал правительство... Экономический отдел, отчаявшись в советском начальстве, задумал апеллировать к демократическому совещанию.

Меня позвали на предварительное заседание в Мраморный дворец, где помещалось министерство труда. Кажется, был и министр Гвоздев, которого мы ныне никогда не видели в Смольном. Но предводительствовал все тот же Громан. Человек из 12-ти присутствующих огромное большинство были меньшевики — и далеко не левые. Официально они все еще стояли за коалицию, хотя больше помалкивали на этот счет. Но тут же в заседании они, с фактами в руках, дали такую уничтожающую картину коалиционной экономической политики, какую были бы бессильны дать самые гениальные политические агитаторы. Как укладываются в их головах их взгляды, было не ясно. Но выводы из их

речей были для меня ясны вполне. Я предлагал экономистам выступить на «совещании» — с выяснением экономической кон'юнктуры и с непреложным выводом: долой коалицию! Громан тут мог бы быть более убедителен, чем Троцкий или Мартов... Увы! экономисты уклонились. «Мы изложили экономическую часть, а остальное не наше дело». Пусть «совещание» само делает свои выводы... Что тут поделаешь?

Но проблема то состояла в том, чтобы добиться выступления на С'езде. То же бывало с экономистами перед каждым С'ездом, ибо звездная палата этой публики не жаловала. На доклад рассчитывать было нельзя. Разве только можно выступить в порядке очередных ораторов, от имени «экономической группы», которая в числе прочих была включена в Ноев ковчег.

* * *

Теперь остается только один роковой вопрос: какую же позицию занимает по отношению к С'езду сама верховная власть... Об ее фактическом отношении распространяться нечего. Но, подобно прочим смертным, Вр. Правительство имело свое официальное суждение о «конвенте» и притом дважды. Положение было довольно щекотливо. С одной стороны, после-корниловская кон'юнктура связывала по рукам и по ногам. Надо соблюдать такт и осторожность. Но, с другой стороны, каково выслушать от государственных элементов, и притом публично, такие истины: «До сих пор эсеры делали все, что им угодно. Достаточно было Гоцу и Зензинову с'ездить в Зимний дворец, и министры летели, как кегли.

Даже после исторической ночи в Малахитовом зале, когда вся полнота власти была предоставлена Керенскому, они сумели свести эту полноту к полному нулю. Доверчивый Керенский вообразил, что он действительно в силах составить министерство... Но пришли ночью к полновластному Гоц и Зензинов и сказали: Чернов или никто. Ультиматум был исполнен. С тех пор ультиматумы сыпались, как из мешка. Но теперь, кажется, им поставлен предел. О, конечно, не со стороны обладающего всей полнотой власти председателя совета министров, а со стороны Ленина с товарищами... Наступило время и ему поцарствовать. Вероятно демократическое совещание обратится в прославление Ленина»...

Не правда ли, недурно? Ведь это пишет «Речь», газета кадетов и промышленников, — желанных, но строптивых сподвижников «в трудах гражданства и войны». Не слишком ли дорого запросят они при таком престиже правительства: не заменить тебе Корнилова, о полновластный!..

Итак, необходимо дипломатично и осторожно наплевать на демократическое совещание. Вр. Правительство, после суждения 5-го сентября, постановило: демократическое совещание совсем не то, что московское; то было «государственное», а это просто «общественное», «частное». Правительство, как таковое, в нем не примет участия. Но все же выступить там может, как и на всяком другом с'езде. А по возвращении Керенского из Ставки было дополнено: никакой обязательной силы решения С'езда для правительства, конечно, иметь не могут. И выступать на нем не обязательно... Разве только, как перед частным учреждением...

Экспансивный Верховский тут заявил, что он непременно выступит перед «совещанием» со своей программой. Как угодно! Что касается главы правительства, то он выступит с приветственной, а не програмной речью.

Так сказал Керенский и пошел встречать москвичей, промышленников и кадетов, — независимо, совсем независимо от демократического совещания.

* * *

С'езжаться начали, как всегда за несколько дней. В Смольном и в делегатских общежитиях в эти дни происходили совещания «курий» и фракций. Партийные центры повсюду рассылали своих лидеров: в виду колебательных настроений, агитация на предварительных собраниях могла иметь некоторый успех...

На заседании эсеровской фракции выступали три докладчика, от трех фракций, — Авксентьев, Чернов и левый Карелин. Говорили все то же, но течения у эсеров ныне так размежевались, что спорить пришлось главным образом о том, сохранять ли единство фракции при голосованиях или вотировать в пленуме сообразно взглядам. Незначительное большинство все же набралось в пользу единства.

Любопытно было и у меньшевиков. В частности, я уже упоминал о правоверной кавказской группе, которая взбунтовалась после корниловщины и требовала по телеграфу решительного разрыва с коалицией. Ныне несколько кавказцев лично прибыли в Петербург для участия в «совещании» и для воздействия на упорных столичных лидеров. Во главе

группы стоял один из столпов меньшевизма, знаменитый Жордания, будущий правитель Грузии. Доселе я не видел этого деятеля. Сношения наши ограничились тем, что в начале войны он прислал мне в «Современник» ультра-шовинистскую, правоплехановскую статью, а я ему, помнится, не очень любезно ответил, возвращая рукопись. Теперь он был лидером левых меньшевиков и, кажется, первый поднял на Кавказе знамя борьбы против дальнейшего соглашательства.

— Жордания, как огромная глыба, как старый кавказский Эльбрус, вдруг оторвался от родного хребта и величественно поплыл к другому берегу, — смеясь, говорил мне про него Луначарский, как всегда, походя рассыпая свои образы и краски.

Кампания, поднятая кавказскими сородичами, и самый факт их оппозиции — доставили большие неприятности нашим Церетели и Чхеидзе. Первый, сердясь и волнуясь, сохранял твердость и мужество, идя напролом ради идеи. Но второй, уже совсем через силу и окончательно подавленный, плелся за своим мучителем. Кавказцы дебютировали, кажется, и в меньшевистском Ц. К., где коалиции уже приходилось туго. Но все же кое-как великая идея держалась.

Во фракции демократического совещания у меньшевиков было уже не три, а четыре докладчика. В Смольном об'явился Потресов, уже не раз подвизавшийся во фракционных заседаниях на тему о коалиции. Он должен был представлять собой правейшее течение (ибо Плеханов был не в счет); но разницу между Потресовым и Церетели не мог бы обнаружить никакой микроскоп. Третьим докладчиком был Жордания; он выступал против коалиции

в качестве оборонца и лойяльного партийного меньшевика, заменив собой Богданова. Четвертый же был представитель нашей автономной, нелойяльной группы из циммервальдского, «большевистского» лагеря; это был старый Мартынов, прекраснейшая личность, но не особенно сильный, не слишком авторитетный политик и оратор. В сущности, он заменял Мартова только в силу своего огромного стажа.

Говорили без конца. Записалось несколько десятков ораторов, из которых, как всегда, успела высказаться ничтожная часть. Говорили на все лады, но уже все надоело.

Между собой толковали о сенсации, произведенной Жордания, и уверяли, что большинство провинциалов против коалиции. Однако, голосование дало перевес принципу коалиции в 4 голоса; а после этого коалиция без кадетов была принята большинством 26 голосов. Я только заглянул в Большой зал Смольного, где шло заседание, и поспешил к более интересным делам: в газете в эти дни мы вели жестокую кампанию.

* * *

Итак, демократическое совещание открылось 14 сентября, ровно через месяц после московского «государственного». В торжественный день открытия, пока министр-президент увещевал промышленников и кадетов насчет принятия ими власти, в те же утренние часы мы в газетах читали интересные сообщения. Во-первых, стачечный комитет железнодорожников телеграфно сообщил по четырем маги-

стралям, что через неделю, в случае неудовлетворения требований, надлежит приступить к забастовке. Во-вторых, группа заключенных большевиков сообщала, что завтра 15-го она возобновляет голодовку, которая была начата, но приостановлена по просьбе Ц. К. большевистской партии. Заключенным большевикам не пред'являлось никаких обвинений. Но на их освобождение власти соглашались только при условии огромного, заведомо непосильного для них залога. Это было издевательством, на какие не часто пускался царизм. В числе заключенных был известный Крыленко, арестованный на фронте и бывший заведомо вне столицы в июльские дни. Состоялся было приказ об его освобождении, но потом был приостановлен... Все эти сообщения газет в торжественный день 14 сентября производили очень благоприятное впечатление.

Открытие было назначено в 4 часа. Площадь Александринского театра была оцеплена придирчивым караулом, энергично оттеснявшим толпу. Вокруг театра стоял «хвост» делегатов, из коих не все проявляли терпение. Получение билетов было осложнено какими-то формальностями и двигалось туго. Делегаты раздражались. Недалеко от меня в хвосте двигался Мартов, но меня не хотели пропустить к нему, хотя наши места были рядом, на сцене. Мимо хвоста, на улице, проходят какие-то господа и заглядывают в лица. Не ищут ли Ленина и Зиновьева? Их приказано арестовать при входе, но не в зале. Они, однако, не явились.

После долгих мыканий из комнаты в комнату, где сидели разные коменданты, комиссары, распорядители, — мы, наконец, на сцене блестящего театра. Он уже почти полон, да и на сцене мест

почти нет. Но еще не открывают, хотя скоро 5. Говорят, ждут Керенского. Не понятно, почему запоздал он. Утреннее заседание с биржевиками давно кончилось, для вечернего еще рано. В Александринском театре об этом, впрочем, ничего не знали. Почему-то многие ждут, что премьер даст об'яснения по корниловскому делу. Разоблачения были, на самом деле, так внушительны, что «править» государством и явиться перед лицо «демократии», не реагируя на них, казалось, невозможно.

В ложе, отведенной для иностранных представителей, виднелось уже много фигур каких-то дипломатов. В оркестре были набиты журналисты, как сельди в бочке; сидеть было негде, едва стояли. ... Вот в царской ложе появились какие-то люди из Зимнего. Должно быть, сообщили, что Керенский изволит выезжать. Появился Чхеидзе и открыл заседание небольшой безразличной речью. О задачах Совещания он высказался совершенно неопределенно. И действительно, как ни подбирали состав, но совещания фракций и «курий» показали, что коалиция трещит по всем швам. Стало быть, пора было понемножечку лишать собрание его «учредительных» полномочий и выдавать его за «совещательное», с'ехавшееся со всех концов просто от избытка времени.

Президиум был, как всегда избран во фракциях. Сейчас он был только оглашен и молчаливо утвержден собранием. В нем было несколько новых людей из муниципалов и прочих еще не виданных у нас «курий»; но больше были старые знакомцы, которых нечего и перечислять.

Во время речи Чхеидзе в зале появился Керенский; но энтузиазма, как в былые времена, он не

вызвал и речи председателя, как прежде, не прервал. Но все же, когда ему предоставили слово, овация была шумной и продолжительной. Какая часть рукоплещет? Сколько оппозиции? Этого еще сказать нельзя.

Керенский волнуется, говорит с минутными паузами, переходит с места на место. Но как будто немножко «сдал»; запальчивости и раздражения как будто меньше, чем месяц тому назад, на «государственном» совещании. Но что же он говорит?

Говорит как-будто совсем лишнее и не говорит насущного. О политической кон'юнктуре, об организации власти, о правомочиях и задачах Совещания — ни полслова. Премьер ограничился тем, что потребовал доверия и поддержки. Великолепно...

Оценка кон'юнктуры состояла в хорошо знакомых нам выкриках об анархии, о личной травле, о генерале на белом коне и снова о личной травле. Но главная часть речи состояла в том, что Керенский, в меру своего разумения и такта, действительно отчитывался по делу Корнилова. Молчать, из престижа власти, об основных проблемах, для решения которых собрался С'езд, и вместе с тем давать показания в качестве обвиняемого без малейшего формального повода! Это совсем странно и ни с чем не сообразно. Однако, эта странность совершенно естественна. Обвинения попадали в слишком наболевшее место и молчать было нельзя. Выступить, правда, было не с чем, но все же приходилось рискнуть. И вышло дело так.

— Вр. Правительство поручило мне приветствовать настоящее собрание, — ...но я не могу гово-

рить прежде чем не почувствую, что здесь нет никого, кто мог бы мне лично бросить упреки и клевету, которые раздавались в последнее время...

Керенский не успел кончить фразы, как раздались шумные массовые возгласы: «есть, есть!» Поднимается шум. Чхеидзе тщится водворить порядок. Возобновляется овация... Совершенно ясно, что в собрании с такой сильной, организованной и ненавидящей оппозицией Керенскому доселе в революции выступать не приходилось.

— Позвольте мне поэтому, — продолжает глава государства, — изложить в кратких чертах то, что называется корниловщиной, и то, что я могу сказать по праву, было мною вскрыто и уничтожено.

Снова негодование и протесты из лож. Кричат: «нет, нет, не вами, демократией и советами!».. Но я склонен думать, что несчастный Керенский действительно верил в те нелепости, которые он говорил.

— Да, демократией, — продолжал он, — так как все что я делал, я делал ее именем...

И дальше Керенский в своей апологии хватается за самые наивные аргументы, которые собрание тут же оценивает цвишенруфами и междометиями. Он, Керенский, о предполагаемом выступлении справа знал давным давно, он предупреждал о нем в не совсем и не всем ясных словах на Московском Совещании; он сейчас же арестовал корниловского вестника Львова; конный корпус был вызван, так как уже было известно о заговоре (о, Боже!) и т. п. Надо сказать, что к этому времени картина августовских дней была уже достаточно выяснена печатью и знакома всем, кому было интересно. Трудно было бы понять, как можно решаться теперь на по-

добные публичные заявления, — если бы их делал не Керенский.

Но Керенский проявляет ту же наивность, то же непонимание обстановки, — в какую бы сторону ни бросилась его безудержная мысль.

— Не ошибитесь, — вдруг заявил он, — не думайте, что если меня травят большевики, то за мной нет сил демократии. Не думайте, что я вишу в воздухе. Имейте в виду, что если вы что-нибудь устроите, то остановятся дороги, не будут передаваться депеши (одни рукоплещут, другие смеются).

Не менее неожиданно и не менее нерасчетливо было следующее.

— Я должен заявить собранию, что Вр. Правительство ежедневно получает со всех сторон сведения о все более развивающейся в стране анархии. Только сегодня мы получили из Гельсингфорса телеграмму, где Вр. Правительство предупреждается, что гельсингфорские революционные силы не дадут никому воспрепятствовать явочному открытию закрытого сейма.

Раздался гром аплодисментов и возгласы: «правильно, правильно!»... Оратор ничем не мог на это ответить, кроме дешевой ссылки на другую телеграмму, несомненно апокрифическую, — будто бы, «немецкая эскадра, знакомая с положением дел приближается к финскому заливу»... Никакого отношения к предыдущему это не имело, немецкая эскадра так и не приблизилась, но в зале истины не знали, и Керенский, среди начавшегося скандала, уже счел себя победителем. Он заканчивает снова в мажоре:

— Когда я прихожу сюда, я забываю все условности положения, какое я занимаю и говорю с вами,

как человек. Но человека не все здесь понимают, и я скажу вам теперь языком власти: каждый, кто осмелится покуситься на свободную республику, кто осмелится занести нож в спину русской армии, — узнает власть революционного правительства, которое правит доверием всей страны.

Так выполнил глава правительства свою задачу. Очень большая часть собрания провожала его долгой овацией.

Дальше с большим успехом говорил военный министр Верховский, уже явно заслуживший у нас значительную популярность. Она позволила ему довольно смело и совершенно безвозбранно касаться некоторых больных вопросов: избиений офицеров, выборности командиров, к которой министр относится отрицательно. В общем Верховский произнес — как бы в парламенте — вполне деловую речь, посвященную делам армии. В общем он повторил те же свои мысли и ту же программу, которую он излагал в Ц. И. К.

А затем С'езд приступил к своему основному, ненужному, нудному и «нелойяльному» делу: приступил к обсуждению того, надлежит ли у нас быть коалиции или чисто демократическому правительству.

Странно: никаких официальных докладчиков не было. Начались прямо речи фракционных ораторов и притом выбираемых случайно, без видимой системы. Первым говорил Чернов, затем Каменев, Богданов и Церетели. Чернов защищал коалицию без кадетов, но больше напирал на программу правительства; он был из всех ораторов самым витиеватым, расплывчатым и беспочвенным. Богданов настаивал на чисто демократической власти, но

не советской, а именно той, какую представляет демократическое совещание. Каменев и Церетели были флангами, — их программы известны и совершенно определенны. Но ни одна из речей решительно не заслуживает изложения. Все уже слышано и читано — без остатка. Собрание еще забавляется цвишенруфами, но уже немного скучает. Впрочем, каждый оратор имеет свой успех у большой части собрания.

Соотношение сил пока установить сколько-нибудь точно нельзя. Большевики — в меньшинстве. Но в каком меньшинстве? Такого еще не видел ни один всероссийский с'езд демократии. Их примерно треть. Но с ними уже обеспечен постоянный союз левых эсеров-интернационалистов. Имеются и примыкающие группы — меньшевики-интернационалисты, «новожизненцы», многие беспартийные... Вся оппозиция правительству как будто приближается к половине. Но черновское болото может склонить и туда, и сюда.

После речей названных ораторов, в 12-м часу, заседание было закрыто. На следующий день было решено пленума не устраивать. Целый день был предоставлен снова заседаниям фракций и «курий».

* * *

Надо сказать, что заседания «курий» в течение этого дня были довольно малолюдны. Редко, где собиралось больше половины «курии». Большинство делегатов, уже набивших оскомину коалицией, предпочитало хоть немного вкусить столицы. В газетах того времени можно найти отчеты о заседаниях «курий»; но, право, в них остановиться не на

чем — разве только на конечных результатах. Они были показательны и, в сущности, решали дело... В «курии» городов 73 голосовало за коалицию, 74 — против; примерно так же разбились голоса и при оценке правомочий демократического совещания. Значительно правее оказались, как и в былое время, земства: за коалицию — 54, против — 6, при 17 воздержавшихся. На крайнем правом фланге, конечно, кооператоры: только два голоса против коалиции. Но крестьянские организации дали снова равновесие: 66 — за, 57 — против; «спас» Чернов, получивший 95 за коалицию без кадетов. Не приняли решения фронтовики и военные. Но и там, очевидно, соотношение было то же.

Большинство за коалицию, собранное у крестьян, кооператоров и земцев уравновешивалось левыми «куриями»: советской-профессиональной и фабрично-заводской. Эта последняя, впрочем не собиралась, так как ей обсуждать было нечего: там были все большевики. Проф. союзы дали 8 голосов за коалицию и 73 против; 53 голоса в этой «курии» было подано за власть советов, и 20 — за власть демократического совещания. Но самая интересная, конечно, советская «курия». Здесь, несмотря на усиленное представительство старых, июньских Ц. И. К-тов, провинция отдала половину «курии» в руки большевиков; а из эсеров чуть не половина оказалась левых; да и из меньшевиков больше трети принадлежало к нашей группе, интернационалистов. Споры о коалиции здесь были также излишни. Выступить же с декларацией от имени советов курия уполномочила Мартова... Да, это было уже не 3-е июня, когда в «кадетском корпусе»

делегатская масса лезла на Мартова с кулаками и пеной у рта, не имея для него иных эпитетов, кроме — «вильгельмов провокатор»...

А вечером те же люди из всех «курий» собрались уже по политическому признаку, собрались по фракциям. Для фракционных заседаний почему-то были отведены помещения в Технологическом Институте, довольно отдаленном и незнакомом. Там было оживленно и шумно вечером 15 сентября. В сущности, в этот вечер определялись там конечные итоги совещания. С сильным запозданием и без большого интереса я также приехал в Технологический Институт. Кажется, было заседание нашей группы, но вероятно я попал к шапочному разбору. Да, впрочем, и судить нам было почти не о чем, — разве только заняться организационными вопросами.

А потом, как водилось, наша автономная фракция, приняв свои решения отправилась in corpore в заседание официальных меньшевиков, чтобы там давить на их решения речами и голосами... Я вошел в отведенную фракции, битком набитую, неудобную комнату — в тот момент, когда Либер бился в истерике, выводя филиппику на высочайших нотах и потрясая какой-то бумаженкой.

Листок оказался только что выпущенным воззванием большевистского петербургского комитета. Оно было адресовано к петербургским массам и приурочено к демократическому совещанию. «Трудно думать, — говорилось в нем, — чтобы Дем. Совещание стало на революционный путь: ведь для того оно и созвано, чтобы противопоставить воле революционных рабочих и солдат волю элементов, политически более отсталых, земств, кооперативов

и др.»... И, бросив тень на «авторитетнейший орган всей демократии», комитет говорил так: «поднимите же свой голос вы, широкие массы солдат и рабочих Петрограда, скажите громко и внятно, что... вы вместе с вашим Советом, что вы за линию, намеченную им, что вы против нового торга и соглашательства... Оставаясь спокойными и хладнокровными, не поддаваясь на провокацию агентов и слуг контрреволюции, не веря ни одному слову продажной желтой буржуазной прессы, посылайте от всех заводов и фабрик и мастерских, от всех казарм, всех полков и воинских частей делегации с наказами, содержащими ваши требования. Пусть узнает Дем. Сов. вашу непреклонную волю. Скажите им громко и спокойно, как и подобает сильному, уверенному в себе и своей конечной победе авангарду революции, что вы против коалиции, за твердую революционную власть, против помещиков, за землю крестьянам, против фабрикантов и заводчиков, за рабочий контроль, против империалистов, за справедливый мир».

Рекомендую со вниманием отнестись к этой прокламации. Соединяя в себе de verbo скромные призывы («скажите, что вы против»...) с фактическим максималистским бунтарством (...«против фабрикантов» и пр.), — эта прокламация чрезвычайно характерна для всего направления и тэна большевистской агитации того времени... А в данном конкретном случае — что же, собственно, предлагалось? Кому именно надо было «сказать громко, спокойно и уверенно в себе»? Куда направлять делегации? И сколько же их — от заводов и мастерских, от казарм, полков и прочих частей? Сотни, тысячи? И в каком составе?.. Подача ли это

заявлений или, скорее, «мирная манифестация»? Не шли ли и в июле «сказать, что власть должна принадлежать советам»?..

Во всяком случае, Либер имел, если не солидные основания, то некоторые поводы для беспокойства... Он кричал, что перед нами новый заговор, что большевики в скрытой форме опять зовут к выступлению, что это снова апелляция к вооруженному меньшинству, которое хочет навязать свою волю полномочному органу всей демократии. Революция в опасности!.. Следующий оратор начал было призывать к хладнокровию. Но я не дослушал: я отправился разыскивать большевиков, чтобы разузнать, в чем дело.

Большевистская фракция заседала где-то далеко во дворе, но зато в удобной и просторной аудитории. Народа было, пожалуй, не меньше трех сотен человек. Среди них виднелись фигуры, которые впоследствии пришлось видеть на важнейших государственных постах. Тут был и новоиспеченный большевик Ларин. Председательствовал, кажется, Каменев. Но главную роль играл Троцкий, бывший докладчиком. Меня встречали широко раскрытыми глазами, но достаточно дружелюбно. Я сошел, по амфитеатру в самый низ, к столу президиума и, улучив минутку, отозвал в сторонку Каменева:

— Скажите, каков смысл вашего листка по поводу демократического совещания? Действительно ли вы готовите «выступление»?.. Листок толкуется именно так и уже вызывает смятение...

— Что за листок? — удивился Каменев, — ничего не знаю. Ни о каких выступлениях не было речи. Это, очевидно, что-нибудь — местная, петербургская организация... Вот спросим.

Каменев подозвал Володарского, очевидно, члена петербургского комитета, и спросил, что они готовят и к чему призывают. Володарский отвечал напористо и даже немного запальчиво, видимо продолжая полемику, происходившую и в петербургском комитете:

— Да, мы призываем заводы и казармы давать наказы о власти советов и посылать делегации к демократическому совещанию. Ничего, решительно ничего тут нет страшного! Это наше право. Это просто способ мобилизации масс вокруг наших лозунгов. Не можем же мы останавливаться из-за того что...

— Ну, это мы с вами давайте потолкуем, — прервал Володарского Каменев, как будто определенно не сочувствуя начинанию, но не желая здесь, в моем присутствии, решать партийные дела...

Во всяком случае, как бы ни обстояло дело в петербургском комитете, но большевистский самодержавный центр как будто бы не склонен «выступать». Да ведь всего два дня назад за его подписью было опубликовано официальное сообщение, что все слухи о новых выступлениях большевиков исходят из провокаторских источников. Как будто бы Либер пока что может быть спокоен.

С согласия начальствующих большевиков, я остался некоторое время в заседании их фракции — посмотреть, послушать. Докладчик Троцкий говорил о ближайшей задаче на демократическом совещании: необходимо бороться самым энергичным образом и приложить все силы к тому, чтобы заставить С'езд взять власть в свои руки; это будет первый этап к переходу власти в руки советов.

Это была о д н а тактическая линия большевиков.

Троцкий здесь как бы продолжал свою «эволюционную» линию, выявленную на наших глазах еще на июньском всеросс. С'езде. Тогда было «двенадцать Пешехоновых», сейчас — власть демократического совещания... Несомненно, и Каменев был на стороне той же тактики.

Впоследствии, однако, я узнал, что была и другая линия. Ленин, из какого то своего далека, в эти дни слал письмо за письмом к своим ближайшим товарищам. Из своего далека он требовал, чтобы они, нимало не медля, оцепили и арестовали полуторатысячное демократическое совещание. О, сил для этого было достаточно! Столько их в Петербурге еще не было никогда. Военно-техническая сторона, хотя бы и с трудностями и с огромными жертвами, была бы, вероятно, выполнена с успехом. Но каков политический смысл этого акта, — этого мне не понять. Снова меньшинство или — будем говорить — советская половина давит единым духом, кулачной расправой другую половину, вместе с земствами, городами, фронтовиками — и производит величайший всероссийский кавардак, путаницу, действительную анархию и всеобщую свалку. Ведь сейчас еще попрежнему пришлось бы об'являть (хотя бы временную) диктатуру партийного большевистского Ц. К. А тут бы опять выиграл Керенский со своими Кишкиными и Бурышкиными. Политическая бессмыслица была не только перворазрядная, но, можно сказать, и испытанная... Но Ленин, также как и Троцкий, продолжал свою старую июньскую линию бесшабашного, импрессионистского, медвежьего, всесокрушающего наскока — на-авось...

Не терпелось Ленину в его далеке! Но, надо ска-

зать, среди своих соратников он на этот раз не имел никакого успеха. Его блестящий план блестяще провалился в его собственном Ц. К.... Возможно, что в приведенной петербургской прокламации до известной степени отразились именно настояния Ленина. Но и только. Во время демократического совещания не было никаких большевистских выступлений — не только попыток переворота, но даже и делегаций с наказами и со «смелым, самоуверенным словом»... А демократическое совещание и не подозревало, что над ним висит большевистский дамоклов меч.

* * *

Я вернулся к меньшевикам. Народа там уже оставалось значительно меньше, но прения были страстны. Оказалось, что коалицию уже голосовали, и она прошла ничтожным числом голосов. Однако, речи, а главным образом реплики не прекращались. Очевидно, оппозиция зацепилась за какой-то формальный повод... Говорили больше крупнейшие лидеры многочисленных «течений». Яростно нападал Жордания, еще пуще — Мартов. Церетели боролся геройски за свою прекрасную даму. Падая в революции со ступеньки на ступеньку, развеяв по ветру уже почти целиком свою власть и свой авторитет, — он до сих пор крепко держал в руках свой талисман и сейчас делал последнюю ставку. Еще и еще раз коалиция и — победа! Но коалиция уже не давалась, и Церетели, в последней схватке, напрягая все силы, достигал огромных степеней виртуозности. Нельзя было не любоваться его искрометными репликами и замечаниями, кото-

рыми он, без стеснения, в самозабвении, перебивал ораторов. Таким блестящим я его еще не видел никогда... Увы! его блеск и виртуозность ограничивались сферой диалектики. Ни государственного смысла, ни логики, ни простой деловитости в них не было...

Турнир длился до глубокой ночи. И, наконец, состоялось новое голосование. Впервые у меньшевиков — коалиция провалилась большинством в три или четыре голоса. Это была величайшая сенсация. Поднялся шум, протесты, споры. Страсти разыгрались, — как будто перед лицом большевиков.

Пересчитать вновь!.. Не надо!.. Голосовать, нуждается ли в проверке голосование!.. Решено проверить. Считают снова, — на скамьях, с горящими глазами, стоит и считает целый десяток добровольцев. Верно!..

Церетели потерял и меньшевиков. Но это еще не значит, что все окончательно потеряно. Еще могут быть «комбинации»...

Все расходятся и в возбуждении совершают длинный путь, по пустым темным улицам, из Технологического Института.

Не помню, в этот ли или в другой вечер и по какому именно случаю, я попал и во фракцию эсеров. Я посидел с пол-часа. Там правые травили докладчика Чернова за оппортунизм, беспочвенность, расплывчатость, бессодержательность, за то, что хочет того — не знает чего, идет туда — не знает куда. Иронически улыбавшийся Чернов не имел победоносного и уверенного вида. Не имел и большинства.

* * *

16-го состоялся пленум С'езда. Тут ожидал нас сюрприз, уготовленный президиумом. Это, надо думать, вдохновенная мысль того же Церетели бросилась сюда в поисках выхода, в жажде реванша и победы, в растерянности и смелости. Сюрприз состоял в том, что вопреки регламенту, торжественно распубликованному, слово предоставили с самого начала бывшим министрам-социалистам! Без тени формальных оснований выступили почему-то пятеро «бывших»: Скобелев, Авксентьев, Пешехонов, опять Церетели и... Зарудный, тоже попавший в бывшие социалисты. Сделано это было, очевидно, в целях особого назидания колеблющимся. Наивность этого мероприятия заставляла бы хорошо посмеяться над ним, если бы безудержное самодурство все той же звездной палаты не шокировало даже верноподданных. Назидания во всяком случае не получилось, не говоря уже о том, что самые речи оказались для этой цели не подходящими.

Некоторые «пикантности» можно, пожалуй, отметить только у Пешехонова и Зарудного. Первый из них был довольно скоро сбит с толку шумом, смехом и возгласами левой части; но все же он с упорством твердил о необходимости самоограничения и жертв, чтобы стала возможна новая коалиция, без которой спасения нет. Оратора прерывали: но ведь первые коалиции дали только развал, ведь коалиция четыре месяца доказывает, что она — орган саботажа. Пешехонов протестует и обещает доказать, что ничего подобного нет; но он тут же забывает сделать это... Это было нечто изумительное! Ведь так говорил человек, только что вытесненный, выброшенный из правительства — именно саботажем его собствен-

ных начинаний. Если бы дело касалось не Пешехонова, то я бы сказал, что это было или глупо или недостойно. Что сказать о Пешехонове, я не знаю.

Зарудный был любопытен совсем с другой стороны. Прежде всего он заявил, что едва-едва подчинился требованиям организаторов выступить со своими «выводами», ибо ему очень тяжело это сделать. А «выводы» таковы. Необходимо немедленно Учр. Собрание, но не видно, когда будет Улита. Затем — диктатура пролетариата у нас существует с 27 февраля; но до сих пор она была в скрытом виде, и это было ничего; теперь же стремятся к окончательной, и это будет гибельно. А почему происходит это движение? Потому, что во Вр. Правительстве, несомненно, большие непорядки. Зарудный подробно и красочно описывает «личный режим» Зимнего и протестует против него. Он рассказывает, как Керенский «намекнул» на необходимость своей диктатуры в момент выступления Корнилова. Все министры послушно взяли по листу бумаги и написали просьбы об отставке. Он, Зарудный, не видел связи между мятежом и своей отставкой. Да и другие также. Но это ни к чему не привело. Министров призывали, с ними советовались, но отставили в конце концов... Все это потому, что правительство ни на что не опирается, и не на что ему опереться. Оно бесконтрольно толчется в Зимнем и ничего не делает для страны. Отсутствие контроля и ответственности особенно видно на внешней политике. У нас говорят в печати и на собраниях о всеобщем демократическом мире. Говорят, это программа правительства. Но Зарудный работал в Зимнем полтора месяца и ни разу не слышал там слова «мир».

Все это на самом деле было назидательно. Зарудный был человек чуждый политике; она была ему не «по зубам». Но его прекрасные личные свойства, его удивительная искренность — сделали свое дело на «совещании». Большевики, напряженно слушая враждебного министра, хорошо оценивали, какая это великолепная агитация болотной массы — против коалиции... Церетели тут промахнулся. Недаром свою министерскую речь он посвятил полемике с Зарудным — под видом продолжения и дополнения «выводов»: в личном де режиме, конечно, виноват не Керенский и не дарованные ему неограниченные полномочия, а виновата сама революция. Да, — не больше, не меньше... Промахнулся Церетели.

А затем — на демократическом совещании началась бесконечная волынка, для которой оно и созывалось. Читались декларации и произносились речи о коалиции от имени групп, «курий» и фракций. Это продолжалось три дня. В один только день 17-го на трибуне Александринского театра продефилировало 47 ораторов. У бесконечных курий и под-курий были нередко большинство и меньшинство, выступавшие с отдельными речами и декларациями; иногда из курии выделялись еще и фракции. Вообще же фракции выступали помимо курий... Внимание быстро притупилось; коридоры и буфет были переполнены. Пожалуй, делегаты удерживались в «Александринке» только ожиданием какой-нибудь сенсации, скандала, а также надеждой, что в один прекрасный час будут прекращены осточертевшие прения, и они понадобятся для «решающего» вотума.

Реакция на полемические выпады ораторов ста-

новилась все слабее. И уже совсем казенно, хотя и дружно, раздавалось при всевозможных разоблачениях коалиции большевистское: «позор, позо-ор!»... Помню, часа полтора мы зевали рядом с Луначарским в одном из первых рядов партера, уже давно зиявшего пустотами. Как то нечаянно, среди сонной одури, после какой-то совсем нейтральной фразы неинтересного оратора, у меня вырвалось: «позо-ор!» По театру пронесся раскат смеха. Нашлись было подражатели, но в общем классический «позор» был сорван.

Ни в памяти, ни в газетах за 16-е и 17-е я не нахожу ничего, что можно было бы отметить. Все эти кооператоры, «представители крестьянства», делегаты национальностей, целый букет разных казаков, увечные воины, «интеллигенция», муниципалы — сторонники коалиции, муниципалы большинства, муниципалы меньшинства, муниципалы большевики, земства большинства, земства меньшинства, журналисты, проф. союзы в целом, проф. союзы в отдельности, мусульмане, исполкомы, грузины-воины, всякие экономические комитеты, — проходили перед нами утром, днем и вечером безо всякого впечатления и следа.

Я усиленно занимался тут же своей газетой: читал рукописи и писал статьи.

Пожалуй, наиболее яркими моментами в эти дни были «разоблачения» железнодорожников, и «страховой группы», пригвоздившей доблестного Скобелева «к позорному столбу». С интересом или, скорее, с любопытством слушали бурного Рязанова, который говорил, главным образом, о корниловцах-кадетах и даже огласил передовицу «Речи» от 30 августа, замененную в свое время конфузливым белым пятном.

Некоторое оживление наступило только к вечеру 18-го. Пришла очередь советской «курии», а затем и фракционных ораторов... Советская «курия» по примеру меньших братьев, разделилась на две части. От большинства выступал Мартов, от меньшинства — Дан. Уже это само по себе было сенсационно и знаменательно. «Вся демократия» видела воочию, как быстро все течет, и что кон'юнктура первого Всерос. Советского С'езда, за три месяца успела превратиться в собственную противоположность. Не видел этого только кружок самого Дана...

Советская декларация была составлена отлично, но выдержана в довольно академических тонах. Она была посвящена, главным образом, выяснению исторической роли советов в нашей революции. Кончалась же декларация таким аккордом: «Обращаясь к представителям всех демократических организаций, собравшихся на всеросс. совещание, делегация Советов Р. и С. Деп. призывает решительно отвергнуть всякое соглашение с цензовыми элементами, всякую безответственную власть, власть единоличную или коллективную, и приложить свои силы (?) к делу создания истинно-революционной власти, способной разрешить неотложные задачи революции и ответственной впредь до Учр. Собрания перед полномочным представительством трудящихся народных масс»...

Декларация советского меньшинства, оглашенная Даном, была, в сущности, только особым мнением звездной палаты и изолированной кучки мамелюков из старого, висящего в воздухе Ц. И. К. Среди советских людей число сторонников коалиции было ничтожно. Бывшие всемогущие советские лидеры, тащившие за собой миллионные советские

массы, были уже без всякой армии. Оставаясь генералами, они искали себе армию; но с трудом находили себе опору среди все более отсталых, буржуазно-обывательских, мещански-закорузлых групп... Эти генералы говорили так:

«...верные советской традиции, мы считаем нужным и теперь звать к участию во власти все цензовые элементы, способные осуществлять неотложные задачи революции, готовые идти революционным путем и не скомпрометировавшие себя ни прямым, ни косвенным участием в корниловском мятеже... Мы считаем нужным энергично звать их для действительного и энергичного проведения в жизнь платформы, выработанной об'единенной демократией на московском совещании... Для того, чтобы обеспечить состав власти, способной проводить в жизнь эту программу, об'единенная демократия должна сама взять дело переговоров о формировании нового кабинета в свои собственные руки. И вместе с тем демократический с'езд должен выделить из себя представительный орган, в котором были бы представлены все крупные силы и перед которым правительство должно быть ответственно»...

А кончалась декларация так:

«При согласии цензовых элементов принять участие в составлении Вр. Правительства, и их делегаты должны быть допущены в это представительное учреждение. А в случае их отказа пусть вся страна знает, что отказ не вызван ничем иным, как нежеланием подчинить свои интересы делу спасения страны и революции. И тогда демократия, столько раз вынесшая на своих плечах революцию и столько раз спасавшая страну, в полном сознании своей ответственности, должна будет взять почетную ношу, возложенную на нее историей».

Надо думать, что этот документ, составленный недавними лидерами революции, был призван в сжатой форме отразить все то, что было за душой и у всех прочих «демократических» сторонников коа-

лиции. Кому же и книги в руки, как не Дану и Церетели? С кого же и спрашивать, как не с них? Очевидно, больше ничего за душой у них и не было.

Попрежнему, в нашей буржуазной революции несть власти аще не от буржуазии. Стало быть, коалиция необходима. И существуют среди буржуазии элементы, «способные осуществлять неотложные задачи революции, готовые идти революционным путем» — хотя бы в пределах программы 14 августа, которая ныне является идеалом. Стало быть, коалиция возможна. И да будет она...

Что тут поделаешь?.. Революция наша буржуазная, это уже дано от Бога, установлено от века, об этом спорить совершенно нелепо. И перед лицом этого обстоятельства не существует ни империалистской войны, ни всеобщего развала, ни той самой гибели страны, о которой вопят они сами вместе со всей плутократией. Трудно было бы отрицать, что семь месяцев у нас существовала коалиция, и что к этой гибели мы пришли с ней, а не со страшной демократической властью. Стало быть, коалиция есть понятие метафизическое, есть потусторонний религиозный догмат или табу дикарей. Смерть, но не нарушение табу! Война, развал и гибель, но не разрыв с коалицией!.. Тут спорить нечего.

В бесконечных, нудных, нестерпимых спорах — грамотные политики Смольного старались идти по другой линии: доказывать не отсутствие необходимости, а отсутствие возможности. Как составить ныне, после корниловщины, в период небывалого обострения классовой борьбы, когда революция уже уперлась в гражданскую войну, — как составить теперь коалицию из этих воюющих эле-

ментов? Где конкретный материал для нее? Ведь эти «способные» и «готовые на революционный путь» слои буржуазии существуют только в абстракции. И сама коалиция, как говорил Мартов, это при таких условиях есть просто некая «праведная земля», которой всю жизнь искал полу-блаженный (но хитренький) горьковский Лука. Коалиция, при таких условиях, была давным давно «синей птицей», которой в природе не существует, которой, по крайней мере, никогда не разыскали и не разыщут малолетние герои Метерлинка... И наши дети изрядного возраста, в наших тоскливых, до слез обидных спорах, не указали конкретно никогда, с кем же, с какой буржуазией, с какими ее слоями, с какими представителями — можно и должно идти на коалицию. Ибо в природе не было буржуазии «способной» и «готовой».

И возникает вопрос: ну, могли ли наши деятели, как бы они ни были слепы, все же — не видеть и не понимать, что они зовут и навязывают своим невинным сторонникам, навязывают революции все тех же, прежних, испытанных заправил и пленников биржи? Ведь на их же глазах Гучков непосредственно участвует в заговоре, Милюков в качестве посредника выгораживает мятежников, Коновалов не выносит самого появления на свет экономической программы Совета, Львов вытесняется в лагерь контр-революции призраком земельной реформы, Некрасов «из экономии» упраздняет экономические комитеты и об'являет всенародно о невозможности обложения сверхприбылей, Терещенко работает адьютантом у сэра Бьюкенена и выводит из себя даже Зарудного... Могли ли не видеть и не понимать люди из звездной палаты, что —

все такие, что иных нет? Могли ли не понимать они, что замена кадетов торгово-промышленниками есть издевательство над самими собой, перед лицом современников и потомства?.. Допустим, они действительно не понимали, что «синяя птица» и «праведная земля» есть выражение идеала, а коалиция есть источник войны, развала и гибели. Но лживость своих фраз о создании «честной коалиции», с «революционной» буржуазией — они, кажется, понимать были должны. Они не могли не знать, в частности, что получив под этот дутый вексель вотум демократического совещания, они сейчас же побегут «звать» к власти своих старых друзей, все тех же «беспартийных» Терещенко и Бурышкиных, все тех же кадетов Кокошкиных, Мануиловых и Кишкиных. Как-будто бы они это сами хорошо знали. Но это не останавливало их... Таких «недоразумений», пожалуй, не прощает история.

Декларация советских огрызков при этом носит на себе явные следы внутренней предварительной борьбы. Скажем примерно так: Дан писал, а Церетели вносил поправки. Дан пишет: демократия должна взять на себя дело формирования власти. Церетели поправляет: дело переговоров о формировании власти. Дан пишет: в случае отказа цензовиков демократия должна будет взять на себя бремя власти. Церетели поправляет: взять почетную ношу, возложенную историей и т. п. Как видим, поправки очень существенны. Слабость и оппортунизм перешли в лицемерие и недостойное политиканство. Ради «идеи», конечно. О, это разумеется само собой!

* * *

В Технологическом Институте в описанном фракционном заседании меньшевиков, в мое отсутствие, произошло, между прочим, следующее. Московский делегат, покойный Исув из «левого центра», поднял вопрос о том, что Керенский, уже в дни «совещания», по достоверным сведениям, предпринимает решительные шаги к сформированию правительства. Исув квалифицировал это, как вызов демократии и предлагал энергично протестовать. После небольших прений была принята такая резолюция: «фракция Р. С. Д. Р. П. демократического с'езда заявляет, что в случае, если новыми назначениями, о которых сообщают газеты, состав Вр. Правительства будет изменен до выявления воли демократического с'езда, то партия сочтет себя обязанной протестовать против этого самым решительным образом и снимет с себя всякую ответственность за действия правительства и отдельных членов его...»

Очень хорошо, что здесь авторитетнейший меньшевистский орган формально признал свою несомненную ответственность за действия Керенского и коалиции; впоследствии меньшевики были совсем не прочь отрясти этот прах от своих ног. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что меньшевики демократического совещания, во-первых, отвергли коалицию, а во-вторых, настаивают на полномочиях демократического совещания в деле образования власти.

Это не годится. Это необходимо было замазать, свести на нет. И в декларации советского меньшинства это сведено на нет. Дело примерно было так. Дан и Церетели, оба вместе, против своей фракции, против советского большинства — про-

возгласили коалицию; а один Церетели, против своей фракции, против своего Ц. К., против постановления Ц. И. К. (от 31 авг.) и против Дана замазал полномочия С'езда в деле создания правительства. Это было очень важно и получило дальнейшее развитие.

Обе советские декларации, как видим, настаивают на создании особого представительного органа, перед которым должно быть отныне ответственно правительство. Мысль эта была выдвинута еще в корниловские дни и с тех пор была принята всеми руководящими центрами. С принципом безответственности правительства и его неограниченных полномочий как-будто бы наступил решительный разрыв. Все, не исключая и самого Церетели, ныне признавали, что какова бы ни была власть, — она должна быть ответственной перед особым представительным органом, до Учр. Собрания.

В результате — мы можем пока запомнить три проблемы, связанные с работами демократического с'езда: 1) структура правительства, коалиция или демократическая власть, 2) правомочия «совещания» — самостоятельно создать власть или только участвовать в этом, в той или иной форме, и 3) ответственность власти перед особым органом, созданным С'ездом, или независимость власти — будет такой орган или не будет создан... Мы скоро увидим, что вышло из всего этого.

* * *

Начались (или продолжались?) выступления фракций. С большим интересом выслушали, что скажет Мартов, выступавший от меньшевиков-ин-

тернационалистов. Мартов ударил в самый центр вопроса и потому... не сказал ничего нового, не мог захватить, оживить, бросить горящий факел в аудиторию. Это очень умно, искусно и правильно. Но все это знакомо, из всего этого ткались бесконечные статьи и речи уже два месяца, это не щекочет больше ни нервов, ни интеллекта.

Иначе поступил Троцкий, выступавший от имени большевиков. Он распылил свою речь, ходя вокруг да около, ухватываясь за конкретные факты, штришки, иллюстрации и лишь временами возвращаясь к центральному пункту. Но все же, в рамке повседневной публицистики, тут предстала не только искомая боевая идея момента, но, можно сказать, и общая философия истории. Это было, несомненно, одно из самых блестящих выступлений этого удивительного оратора. И я никак не могу подавить в себе желание украсить страницы моей книги почти полным воспроизведением этой великолепной речи. Если найдет мой труд читателей в грядущем — как, скажем, находит их доселе невысокого полета книга Ламартина, — то пусть судят по этой странице об ораторском искусстве и политической мысли наших дней. И пусть делают заключение: полтораста лет прожило человечество не даром; и герои нашей революции оттесняют далеко на задний план прославленных деятелей эпохи 89-го года.

Зал Александринского театра встрепенулся при самом имени Троцкого. Официальное выступление большевистской партии, в связи с данным ее представителем, — обещало наиболее яркий момент за весь С'езд. На мой взгляд, эти предвкушения оправдались. Но, конечно, «кооператоры» и мамелюки

поспешили, в сердцах своих, вытеснить любопытство злобой и готовностью к отпору.

Троцкий, со своей стороны, хорошо готовился. Стоя на сцене в нескольких шагах позади него, я видел на пюпитре основательно исписанный лист, с подчеркнутыми местами, с отметками и стрелками синим карандашом... Говорил Троцкий безо всякого пафоса (на высоту которого он, по нужде, умеет подниматься!), без малейших ораторских поз и ухищрений, — совсем просто. На этот раз он разговаривал с аудиторией, иногда выходя к ней шага на два и снова кладя локоть на пюпитр. Металлическая четкость речи, законченность фразы, свойственные Троцкому, не характерны для этого выступления и, пожалуй, даже не в стиле его.

— Здесь, — тихонько начинает он, — здесь перед вами, товарищи и граждане, выступали министры-социалисты, входившие в состав двух коалиционных министерств. Перед «полномочными» органами министрам вообще полагается выступать с отчетами. Наши министры, вместо отчетов, пожелали дать нам советы. За ваши советы мы приносим вам благодарность, но отчета мы требуем от вас... Не совета, а отчета, граждане-министры! — тихонько повторяет оратор, постукивая по пюпитру.

Отлично! Сколько раз — без числа — я вспоминал эти слова потом, когда большевистские министры решали судьбы миллионов, распоряжались всем достоянием государства, измышляли и проводили свои нелепые эксперименты из своих первобытных, но недосягаемых канцелярий, работая втихомолку за частоколом штыков, — без признака контроля, как в средние века, как в своей вотчине, не отдавая народу ничего похожего на

отчеты и угощая, вместо них, митинговыми речами своих приближенных, созванных на парадные заседания! Не знаю, вспоминал ли когда-нибудь сам Троцкий об этих своих словах на демократическом совещании. Память у Троцкого превосходная... Но оставим сейчас все это. С Троцким и его друзьями-правителями мы еще успеем познакомиться вплотную. Сейчас послушаем великого революционера и сказочного героя, двигавшего сотнями тысяч людей.

— Мы слышали, — продолжал он, — советы министра Скобелева; но он ни слова не сказал о том, как он осуществлял свою программу с Коноваловым и Пальчинским. А ведь он обещал 100%! Мы хотели бы знать, на каком проценте остановился он в своей работе с Пальчинским и Коноваловым... Министр Авксентьев, дававший здесь советы вместо отчетов, так же как и в Ц. И. К., в самый трагический момент, когда еще не была ликвидирована авантюра Корнилова, вместо того, чтобы рассказать, как Савинков вызывал третий корпус, с о в е т о в а л оказать доверие и поддержку «пятерке», в которую тогда намечались Савинков — полукорниловец, Маклаков — полусавинковец, Керенский, которого вы знаете, Кишкин и Терещенко, которых вы также знаете. Даже Пешехонов прочел нечто вроде стихотворения в прозе о преимуществах коалиции. Он нам рассказал о том, что министры-кадеты не занимались саботажем, а сидели и выжидали и говорили: «а вот посмотрим, как вы, социалисты, провалитесь». Ну, а что же такое саботаж?.. Самая интересная речь была, пожалуй, речь министра Зарудного, который, помимо нескольких советов, рассказал нам, что было в правительстве. Он поучительно резюмировал для нас: я т о г д а н е

понимал и теперь не понимаю, что там происходит... Я должен сказать, что другой министр-кадет, подвел итог этому опыту в более решительных политических терминах. Я говорю о Кокошкине. Он мотивировал свой уход тем, что после того, как Вр. Правительство предоставило Керенскому чрезвычайные полномочия, имеющие по существу диктаторский характер, он считает свое пребывание в составе Вр. Правительства, куда входил, как политический деятель, излишним; быть же в роли простого исполнителя приказаний министра-председателя он не считает для себя возможным. Это — язык политического и человеческого достоинства... Если у вас и много разногласий, то я все же спрашиваю вас: есть ли у вас разногласия относительно того правительства, которое сейчас правит именем России? Я здесь не слышал ни одного оратора, который бы взял на себя мало завидную честь защищать «пятерку», директорию или ее председателя...

Мамелюки умозаключили, что раз никто из их лагеря не защищал Керенского, то этого достаточно, чтобы тут устроить Троцкому первый скандал. Среди аплодисментов левой поднялся шум, послышались возгласы: «довольно!» «вон!» «Да здравствует Керенский!» Оратору не дают продолжать. Троцкий ждет, пока стихнет, как-будто все это его не касается.

— Я вам скажу, товарищи и граждане, что та речь которую произнес... (однако, о Керенском говорить не дают и снова кричат: «вон!» «довольно!») ...в той речи, которую Керенский произнес здесь перед вами, он о смертной казни сказал: «вы меня прокляните, если я подпишу хоть один

смертный приговор». Я спрашиваю: если смертная казнь была необходима, то как он решается сказать, что он не сделает из нее употребления? А если он считает возможным обязаться перед демократией не применять смертную казнь, то я говорю, что он превращает ее восстановление в акт легкомыслия, стоящий в пределах преступности.

— На этом маленьком примере, — продолжает Троцкий, — где безответственное лицо превращает смертную казнь в свое политическое орудие, которое пускается в ход или временно сдается в арсенал, сказывается вся униженность российской республики, которая не имеет своего полномочного представительства и ответственной перед ним власти. Мы все, расходящиеся по многим вопросам, сойдемся в том, что недостойно великого народа иметь власть, которая концентрируется в одном лице, безответственном перед собственным революционным народом... Ведь, если здесь многие ораторы говорили о том, как трудно в настоящую минуту бремя власти и предупреждали молодую русскую демократию от того, чтобы это бремя возложить на свои коллективные многомиллионные плечи, — я спрашиваю вас, что же сказать об одном лице, которое во всяком случае не выявило ничем ни гениальных талантов полководца, ни гениальных талантов законодателя...

Снова поднимается неистовый шум, снова крики, протесты. Троцкий стоит молча несколько минут. Молчит некоторое время и Чхеидзе, но, наконец, просит собрание успокоиться... Оратор продолжает:

— Я очень жалею, что та точка зрения, которая сейчас находит в зале такое бурное выражение,

не нашла своего политического выразителя и членораздельного выражения на этой трибуне. Ни один оратор не вышел сюда и не сказал нам: «зачем вы спорите о прошлой коалиции, зачем задумываетесь о будущей. У нас есть Керенский и этого довольно»... Именно наша партия никогда не была склонна возлагать ответственность за этот режим на злую волю того или другого лица. Вина за создавшееся положение падает на партии советского большинства, искусственно создавшие тот режим, где наиболее ответственное лицо, независимо от собственной воли, становится математической точкой приложения бонапартизма (шум, крики: «ложь!», «довольно!» «вон!»..) В эпоху революции, когда массы, впервые осознав себя, как классы, начинают стучаться во все твердыни собственности, в такую эпоху классовая борьба получает выражение самое страстное и напряженное. Об'ектом этой борьбы является государственная власть, как тот аппарат, при помощи которого можно либо отстаивать собственность, либо произвести глубокие социальные изменения. В такую эпоху коалиционная власть есть либо высшая историческая бессмыслица, которая не может удержаться, либо высшее лукавство имущих классов — для того, чтобы обезглавить народные массы, чтобы лучших, наиболее авторитетных людей взять в политический капкан, потом предоставить массы самим себе и утопить их в собственной крови...

— Повторение опыта коалиции теперь, после того, как она завершила свой цикл, не будет уже только повторением старого опыта... Здесь говорят, правда, что нельзя обвинять целую партию в том, что она была соучастницей корниловского

мятежа. Говорят, чтобы мы не повторяли старых ошибок, совершенных в июльские дни по отношению к большевикам и не возлагали ответственности на всю партию. Но в этом сравнении есть маленький недочет: когда обвиняли большевиков в июльском восстании, то речь шла не о том, чтобы пригласить их в министерство, а о том, чтобы пригласить их в «Кресты». И тут вот есть некоторая разница: если вы желаете тащить кадетов в тюрьму за корниловское движение, не делайте этого оптом, а каждого отдельного кадета исследуйте со всех сторон. Но когда вы будете приглашать в министерство ту или другую партию — возьмем для парадокса, только для парадокса, партию большевиков, — то если бы вам понадобилось министерство, которое имело бы своей задачей разоружение пролетариата, вывод революционного гарнизона, приглашение 3-го корпуса, то я скажу, что большевики для этого не годятся... Если бы речь шла о введении кадетов в министерство, то решающим для нас является не то, что тот или иной кадет находился в закулисном соглашении с Корниловым; а то, что в тот момент, когда сердца рабочих и солдат учащенно бились под закинутой над революцией петлей, — не было ни одной буржуазной газеты, которая бы отражала наш страх или нашу ненависть, или нашу готовность к войне. А ведь буржуазная печать отражает на всех языках — лжи, мысли, чувства и желания буржуазных классов. Вот почему у нас нет партнеров для коалиции... Чернов гововорит: подождем! Но во-первых, вопрос о власти стоит сегодня, а во-вторых там, где выступает пролетариат, как самостоятельная сила, там каждый его шаг не усиливает, а убивает буржуазную демо-

кратию. Вся политическая карьера социалистической партии и пролетариата, как главного ее носителя, в том и состоит, что она вырывает из под ног мелко-буржуазной демократии и ее идеологии все более широкие рабочие массы, отбрасывая ее вместе с тем в лагерь буржуазного общества. И поэтому надежда на то, что в эпоху высоко развитого мирового капитала, когда классовые страсти напряжены до высшей степени, и когда пролетариат русский, не смотря на свою молодость, является классом высшей концентрации революционной энергии, ожидать возрождения буржуазной демократии значит создавать самую великую утопию, которая когда-либо могла быть создана. Не случайно же наши социалистические партии заняли то самое место, которое во французскую революцию и во всех буржуазных обществах на заре их юности занимало то, что вы называете честной буржуазной демократией. Наши социалистические партии заняли это самое место, и теперь вас пугают и вы пугаетесь: так как вы называетесь социалистами, то вы не имеете права выполнять ту работу, которую выполняла буржуазная демократия, честная, смелая, которая не носила высокого имени социалистов и которая поэтому не боялась самой себя...

Троцкий кончил. Не мало высказанных здесь истин он впоследствии хотел бы видеть только в воображении своих врагов... С другой стороны, не все высказанное им, может претендовать на роль непреложной истины — в историко-философской части. Но как отражение взглядов Троцкого, все это во всяком случае имеет чрезвычайный интерес.

На Троцкого, как всегда, немедленно набросился

Церетели. Уж не знаю от чьего имени он выступал этот раз, — под председательством Чхеидзе для него никакие законы были не писаны. Мамелюки понимали, что взять на Церетели реванш, это — дело их чести; и аплодировали они бешено. Церетели же был довольно ловок по внешности и совершенно убог по существу. От большевиков он пытался отделаться все теми же неистощимыми июльскими днями. Но главное внимание он направил на болотные черновско-жорданиевские группы, которые и должны были решить дело в конечном счете... Стало быть, эти эсеры и меньшевики осуждают свою собственную прошлую политику? Или они не видят плодов революции, которая вся шла под знаменем коалиции? А свобода народам России? А демократические земства и города? И разве не наша цензовая буржуазия санкционировала наши избирательные законы? Цензовая буржуазия в течение шести месяцев была вынуждена идти вместе с демократией и шла с ней.

— Я перед вами отстаиваю, — кончает Церетели, — славную традиционную тактику. Отдайте себе отчет, что отвергая коалицию в будущем, вы отвергаете коалицию в прошлом, а наша коалиция в прошлом — это российская революция.

Церетели был уже не вождь; он уже был банкрот. И всю эту тошнотворную снедь, которой он — в последний раз — угощал свое верное мещанство, можно спокойно оставить без всяких комментариев.

Выступали еще три фракционных эсера, Минор правый, Камков левый и Чернов средний. Затем читается речь больного и отсутствующего Плеханова — в пользу коалиции с кадетами. Наконец, от имени «об'единенных интернационалистов» вы-

ступает старый знакомый — Стеклов... Он был совсем молодым, но, кажется, самым активным членом этой юной «партии»; но партия, бедная силами, несомненно тяготилась этим «лидерством» Стеклова. Незадолго до его выступления один из центральных «новожизненцев», москвич, жаловался мне, что им некого «выпустить», так как против Стеклова решительно возражают. Кто и почему именно — было неясно, но — возражают. Такова была его судьба. Я защищал Стеклова и убеждал «выпустить» его. В конце концов его выпустили, но возражавшие скоро взяли реванш: Стеклова не выбрали в создаваемый представительный орган, в «предпарламент». Этого удара он, конечно, не мог вынести и скоро вышел из партии «новожизненцев», чтобы в дни переворота примкнуть к победителям.

Выступление Стеклова на Совещании было довольно удачно. Оно, между прочим, сопровождалось любопытным мелким штрихом. Как только председатель назвал фамилию оратора, из первой левой (не литерной) ложи бель-этажа, где в данный момент пребывали Н. Д. Соколов, Н. К. Муравьев и лицо близкое Керенскому, послышался женский ненавидящий и наивный возглас:

— Нахамкес!

Вот куда заводят политические страсти совсем не политических людей — в данном случае прекрасную, нежную женщину, привлекавшую к себе всеобщие симпатии...

* * *

Днем 19-го было назначено голосование. В президиуме возник вопрос о **поименном** голосовании; но там долго препирались и запоздали. Пленум решил голосовать попросту. От имени кооператоров было об'явлено, что голосовать они вообще согласны, хотя Совещание частное и ровно ни к чему их группу не обяжет... К вотуму приступили только в четвертом часу. Голосовать в театре очень неудобно. Но были приняты рациональные меры к быстрому и правильному подсчету — по ярусам, выставлявшим огромные цифры своих голосов. Все же ушло несколько часов, а результаты были такие. За коалицию 766 **голосов**, против — 688, воздержалось — 38 во главе с Черновым. Перевес коалиции дали крестьяне, кооператоры, земства и «прочие», мелкие... Итоги «совещанию», казалось, были подведены.

Однако, вот тут-то и началось... Конечно, были внесены «поправки». Их было две. Первая требовала устранения из коалиции причастных к корниловскому заговору. При ее голосовании произошла некоторая путаница понятий: против голосовали и те, кто устранял корниловцев, и те, для кого это само собою разумелось и стало быть, кому поправка казалась неуместной. В результате — ее отклонили.

Вторая поправка устраняла из коалиции **кадетскую партию**. Эта поправка была **принята** — 595-ью голосами против 483 при 72 воздержавшихся... В зале смятение. С'езд кончился решением, явно нелепым и спрятал свою голову под свое крыло... Предстояло голосовать резолюцию в целом, гласящую: **С'езд за коалицию, но без кадетов.** К трибуне бросается целый ряд ораторов по мотивам голосования.

Гоц, от имени своей фракции, заявляет, что эсеры будут голосовать «против резолюции в целом и снимают с себя всякую ответственность за создавшееся положение». Каменев заявил, что большевики также будут голосовать против резолюции; они предупреждали, что этому С'езду не решить вопроса о власти; это решит с'езд советов. Дан заявил, что меньшевики также будут голосовать против, и ответственность лежит на левом крыле. Кооператор заявляет, что его сословие также будет голосовать против, ибо никакая коалиция без кадетов невозможна. То же заявляют земства, с одной стороны, и «новожизненцы» — с другой...

Что̀ за высшие соображения явились вдруг в голове у Мартова, я понять не могу. Очевидно, это была высокая теория, безотносительно к практике, так как против резолюции уже давно было обеспеченное огромное большинство. Но Мартов заявил, что меньшевики-противники коалиции будут голосовать з а к о а л и ц и ю б е з к а д е т о в... Резолюция, конечно, с треском проваливается — большинством 813 голосов против 180, при 80 воздержавшихся.

Было от чего растеряться. Вот будет издевательств со стороны буржуазии, «идущей шесть месяцев вместе с демократией!».. Но, может быть, тут то в конце концов и зарыт источник спасения для славной политики прошлого?..

Вы вникните. Ведь испытанный и верный метод спасения, вообще говоря, состоит в том, чтобы уклониться от воли масс и от ее выполнения. Миллионные массы сплотились вокруг советов; и от советов мы как будто бы довольно удачно спрятались за «всю демократию» безобразно подобранного «сове-

щания». «Совещание» до последнего момента «вывозило»; но под конец сорвалось. Очевидно, потому, что и на этом тысячном С'езде все же кое-как проявилась воля народных масс. Теперь: итоги его явно нелепы. Дальнейшие какие-то шаги и меры необходимы. Не дает ли нелепость итогов отличного повода уклониться от воли и этого тысячного собрания? Ведь в течение всего нашего славного прошлого мы с таким успехом пользовались формулой: «передать в президиум»...

Председатель Авксентьев заявляет, что необходим перерыв: президиум выработает новую формулу голосования. Ведь в президиуме у друзей Кишкина и Терещенки своя рука владыка.

Заседание возобновляется только во втором часу ночи. Президиум трудился несколько часов. Решение его об'являет Церетели. Президиум, оказывается, находит необходимым воссоздать единство воли демократии. В этих целях он считает нужным устроить экстренное совещание, на котором будут рассмотрены способы слить воедино выяснившиеся настроения С'езда. Это экстренное совещание должно происходить при расширенном составе президиума. Он должен быть дополнен представителями всех групп и течений. Если это совещание придет к какому-либо решению, то оно будет передано на обсуждение сначала фракций, а затем пленума. Вместе с тем президиум предлагает принять такое решение: «демократическое совещание постановляет не расходиться до тех пор, пока не выработает условий сформирования и функционирования власти в приемлемой для демократии форме».

Все это было без возражений принято. Ведь никто не знал, как поступить иначе. Иные даже заклю-

чили, что от такого героического решения полезно придти в некоторый энтузиазм... «Расширенное совещание» было назначено с утра в Смольном. Утро вечера мудренее. Все измотались до крайности в этой нелепой толчее.

Когда расходились, кажется, уже брезжил свет. Газеты уже были готовы разнести по всей стране весть о блестящих итогах демократического совещания.

---

4. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Передали в президиум». — Керенский нащупывает почву. — Предварительно выслушать правительство! — Выдают первого кита. — Керенский в Смольном. — Керенский в лаврах победителя. — Пленум Совещания. — Подтасовка лидера. — Выдают второго кита. — Нотариус и два писца. — Большевики ушли. — Единодушие всей демократии. — Дело кончено. — Звездная палата избирает сама себя, чтобы предать совещание. — Церетели в Зимнем. — Предательство не до конца не удовлетворяет корниловцев. — В Смольном. — Большевики прокламируют войну с будущим правительством. — Призыв к мобилизации. — Но ведь это «одни только большевики»! — Новое «историческое заседание» в Малахитовом зале. — Выдают третьего кита. — Последний пленум Совещания. — Церетели пишет декларацию Набокова. — Они предают до конца. — Корниловцы готовы удовлетвориться. — Они предают сверх действительной потребности. — «Демократический Совет». — В залах Гор. Думы. — Во фракциях. — Лебединая песня Церетели. — Пособник Дан. — «Провокация» большевиков. — Церетели торжествует. — Зимний восстановлен в июльских правах. — Буржуазная диктатура реставрирована.

Часу в 12-м я приехал в Смольный. «Расширенное совещание» было назначено в зале бюро. Кажется, начальство распорядилось сделать его закрытым и поставило часовыми каких-то чужих людей. Я едва проник в залу... Представителей «групп и течений» набралось, вместе с президиумом, довольно много,

— не меньше 120 человек. Заседание началось около полудня.

Тем временем Керенский в Зимнем дворце делал свое дело. Конечно, он в тот же час был осведомлен о «крахе демократического совещания» и извлекал из этого свою пользу. Не ясно ли, в самом деле, что теперь уже нет никаких оснований считаться с этим никчемным и бессильным С'ездом. Теперь всякий признает, что единственный свет может исходить только от Вр. Правительства, то-есть от него, от Керенского. Да в конце концов результаты Совещания, каковы бы они ни были, можно даже и использовать... Ведь большинство демократии, как-ни-как высказалось за коалицию. Ну, стало быть, вся Россия и подавно. Керенский теперь смело может создавать коалицию от имени всей России. Надо только действовать с расчетом и не оступиться.

Тогда же, утром 20-го числа, перед открытием «расширенного совещания» в Смольный явился один из приближенных Керенского, немного знакомый мне радикальный адвокатик, некто Гальперн, состоявший при Керенском в качестве управляющего делами. Первый министр прислал его «нащупать почву». Этот Меркурий, поймав Церетели и Дана, заявил им «в порядке частной информации», что Керенский то собственно намерен опубликовать состав нового правительства 21-го сего числа... Дан и Церетели ответили, что такое намерение, несомненно, вызовет «совершенно отрицательное отношение» со стороны демократического совещания. Но эта беседа натолкнула наших лидеров на весьма плодотворную мысль. Она напомнила им еще об одном «испытанном средстве». Церетели сообщил

о намерении Керенского выступить в заседании президиума и предложил выслушать премьера непосредственно, пригласив его для этого в Смольный или в «Александринку»... Мы хорошо знаем, что означало для рыхлой колеблющейся массы — «предварительно выслушать правительство». Это средство уже действовало не раз, сбивая настроение, внося разложение, угашая оппозиционный дух. Вспомним «исторические ночи» 20 апреля и 21 июля... Предложение выслушать Керенского было принято, при протестах многих, большинством голосов.

«Расширенное заседание» приступило к своим работам. В первую голову, было предложено высказаться от имени центральных комитетов социалистических партий. Начал Дан. Он отметил, что ведь конструкция власти это не единственный вопрос, стоящий перед Совещанием; коалиция расколола С'езд, но многое ведь всех об'единяет: программа 14 августа, необходимость работы правительства в открытом контакте с демократическими учреждениями и, наконец, непременная ответственность правительства перед органом, который создаст С'езд. От имени меньшевистского Ц. К., Дан предложил резолюцию именно в таком смысле.

Как видим, это был отличный ход — под благороднейшим предлогом. Не станем вообще говорить о том, что нас раскалывает; постановим единодушно то, что нас об'единяет. Снимем с порядка дня вопрос о коалиции или демократической власти; это решит сам орган, который будет выделен «совещанием». Но зато строго определим условия работы власти... Это — выход из положения!

Эсеры пошли дальше. От имени их Центрального Комитета другой член звездной палаты, Гоц, зая-

вил, что в виду разделения на два лагеря задача создания сильной революционной власти — демократии вообще не по плечу; надо заявить, что приемлема всякая власть, опирающаяся на широкие круги демократии; но этого мало: теперь мы так укрепили директорию и кадетов, что не можем взять на себя почина и в деле создания предпарламента, перед которым была бы ответственна власть. Dixit! Умные речи приятно было и слушать.

Каменев от имени большевиков искал общий язык: конечно коалиция теперь была бы насилием над волей демократии и провоцировала бы гражданскую войну... ведь она была бы с кадетами; но чисто демократическому правительству большевики не станут чинить препятствий; пусть оно явится на будущий Всерос. Советский С'езд и ищет там себе поддержки...

Мелких партий и под-партий перечислять не стоит. После них выступают и приватные ораторы, но я их очень смутно помню. Вносится множество резолюций, а затем об'является перерыв — для окончательного плана кампании звездной палаты.

Рискнули снова проголосовать структуру власти. За коалицию поднялось 50 рук, против — 60. Опять нет ни устойчивого большинства, ни единодушия. Но среди избранной публики дело обстоит значительно хуже, чем даже среди «всей» кооперативно-земско-увечной «демократии!»..

Затем подавляющим большинством или единогласно были утверждены следующие пункты: 1) программа 14 августа, как обязательная для правительства, с дополнением «активной внешней политики»; 2) ответственность перед предпарламентом; 3) поручение этому предпарламенту предпринять все не-

обходимые шаги к организации власти; 4) организация предпарламента путем пропорционального представительства партий демократического совещания.

И вот подоспел Керенский. Он счел — и по справедливости, — что игра стоит свеч. Умаление престижа и независимости настолько ничтожно, что кадеты не взыщут: они поймут, что этими легкими способами можно достигнуть многого. И Керенский прискакал в Смольный в разгар «расширенного совещания».

В довольно нескладной, но «дипломатической» речи Керенский, первым делом, снова попугал анархией и контр-революцией. Затем он мотивировал необходимость коалиции ужасной экономической разрухой, которая требует всеобщего сотрудничества, и в частности, интенсивного действия «частного торгово-промышленного аппарата». И, наконец, он сделал выводы: решению демократического совещания он готов подчиниться и очистить место даже для чисто демократического правительства; но сам в него не войдет...

Очень хорошо! Демократическое совещание созывалось и заседало вот уже почти три недели. Керенский работал у себя в Зимнем, независимо от него. Сейчас, когда оно, в его глазах, опозорилось и провалилось, он заявляет, что готов подчиниться ему. Очень хорошо! Ну, прямо Талейран! Куда Талейрану — прямо Маккиавели... И тут же прихлопнул это самое демократическое совещание, наделенное новыми полномочиями: если провалите мое мнение, то разорвете со мной.

Нет споров и сомнений: ничего нет святее права Керенского отказаться от участия в правительстве, в которое он не верит. Не только право, но можно

сказать обязанность честного деятеля... Однако, соображениями права и морали не затемнить действительного положения дел. Суть была не в коалиции. Суть была в независимости. Керенский одинаково не верил ни в коалицию, ни в Смольное правительство, если не он его создает и не он им управляет. Он верил и в то, и в другое, если он сам подберет его и будет держать министров на положении своих секретарей. Так высоко залетел петербургский адвокат, лидер «трудовой группы», патетический оратор интеллигентских полу-легальных кружков!

Надо было добиться неограниченных полномочий — и в составлении кабинета, и в его функционировании. Готовность «подчиниться» была хлороформом, а ультиматум был операцией. Керенский отлично знал, что дряблое, «опозорившееся», бессильное «совещание» такого ультиматума сейчас не вынесет. Не в первый раз! Но теперь удар наверняка.

Сказал и вышел... Ну, что же делать? Чем же кончить?.. Немедленно кончили тем, что предлагала звездная палата. После реплики Церетели, назидательно вскрывшей «куда мы идем», — вопрос о коалиции был снят с «совещания». Все прения последних трех недель были аннулированы. «Представительный орган» сам решит, быть ли коалиции или демократической власти.

Но другие два основные пункта были утверждены в прежнем радикальном духе: во-первых, правительство должно иметь своим источником демократическое совещание; а во-вторых, власть должна быть ответственна перед ним, в лице созданного им предпарламента.

Избрали особую комиссию для окончательной формулировки резолюции. В комиссию вошло по 2 представителя от крупных партий и по одному от мелких и от «курий... Сомнений не было: если этот «компромисс» будет утвержден в «расширенном президиуме» (где коалиция провалилась), то на него, конечно, пойдет пленум «совещания».

Пока до позднего вечера снова заседали фракции. Я не был ни на одном из этих заседаний, но, согласно газетным отчетам, на них и не произошло ничего достойного внимания. Интерес сосредоточивался именно в этой компромиссной комиссии, вырабатывавшей платформу. Но я в ней тоже не был и о процессе стряпни в этой кухне ничего не знаю. Результаты же стряпни знаю. Их совершенно достаточно.

* * *

А Керенский тем временем вернулся в Зимний дворец уже в лаврах победителя. Сейчас же он созвал министров и сообщил, что дело в шляпе. Правда, особенно форсировать и кричать не следует: это может ослабить позиции его идолопоклонников в Смольном. Но времени терять нечего. Ведь промышленники и кадеты взяли себе только двухдневный срок — в убеждении, что кабинет формируется совершенно независимо от всяких «совещаний». Надо удовлетворить их. Журналистам, не столько русским, сколько иностранным — было сообщено, что кабинет готов. И в Лондон, Париж и Нью-Іорк сейчас же полетели телеграммы с именами новых министров: Кишкин, Бурышкин, Коновалов, Третьяков... Это должно было произвести очень благоприятное впечатление.

В Смольном же, днем, кроме фракций, заседала еще рабочая секция совета. Чисто большевистскому собранию Троцкий докладывал о положении дел. Желательным разрешением кризиса Троцкий считал ликвидацию директории и вручение власти исполнительному органу, выделенному демократическим с'ездом — впредь до с'езда советского. Но, по всем данным, — говорит он, — политика меньшевиков и эсеров приведет к новой коалиции. Благодаря этому, вероятно, будет отсрочен созыв советского с'езда, обострятся классовые отношения и возникнет гражданская война.

* * *

Пленум демократического совещания, в довольно напряженной атмосфере, открылся только в 11 часов вечера... Церетели докладывает:

— Два пункта, программа и ответственность, об'единяют огромное большинство. Другие вопросы, по которым нельзя было достигнуть соглашения, подчинены двум первым. Совещание президиума предлагает не делать новому представительному органу никаких ограничений в организации власти. Ограничение уже имеется в программе и в ответственности... Мы предлагаем сегодня же уполномочить президиум избрать из своей среды пять человек, чтобы они немедленно предприняли практические шаги для проведения в жизнь этих решений. В своей деятельности они, конечно, будут давать полный гласный отчет представительному органу. Если бы оказалось, что в результате шагов, предпринятых демократией, организовалось бы правительство с участием тех или иных цензовых эле-

ментов, то представительному органу пришлось бы пополнить свой состав и этими элементами, но с непременным преобладанием в нем демократии.

В полном соответствии с этими словами, Церетели предложил и революцию... Охватить точно и детально ее смысл, оценить полностью ее значение — тысячному собранию, истрепанному и разлагавшемуся, было, разумеется, не под силу. Но, я надеюсь, читатель, имея перед глазами документы, внимательно следит за всеми стадиями этого скверного дела...

Мы видим, что устранив основной вопрос о коалиции, «совещанию» «предлагают» утвердить два пункта: никчемную «программу», которая (в лучших редакциях) была налицо всегда, и ответственность перед предпарламентом. Ну, а кто же создаст власть? Как обстоит дело с третьим пунктом, с полномочиями демократического с'езда? Об этом незаметно, но красноречиво умалчивается. Но место не остается пусто. Под условием отчетности предлагают: уполномочить звездную палату. Боже мой! Но ведь так же делалось всегда и раньше — в «историческую ночь» на 22 июля и в других случаях. Ведь для этого никогда не собирали еще тысячных с'ездов «всей демократии». Однако, — на что же уполномочить надо звездную палату во имя спасения революции? «Предпринять практические шаги». Не правда ли ловко сделано — ради великой идеи? Это значит, что звездная палата пойдет шушукаться с Керенским, делить ризы которого мы собрались на основании резолюции Ц. И. К., принятой под ударом Корнилова. Это значит, что власть будет создана на основании соглашения Церетели, Керен-

ского, Коновалова и Третьякова... То-есть все, что было приобретено после корниловщины, все что послужило основанием к созыву демократического с'езда, все что было предметом его работ, — все идет ка смарку, за исключением пункта об ответственности.

Но этого, конечно, не могло полностью оценить истрепанное и рвущееся по домам тысячное Совещание. Церетели произнес, в заключение своего доклада, несколько звонких высокопатриотических фраз, — и при шумных аплодисментах было решено голосовать без прений.

По мотивам голосования Троцкий заявил, что большевики буду голосовать за пункт об ответственности, воздержатся по пункту о том, перед кем будет ответственна власть, и будут голосовать против резолюции в целом, так как она допускает коалицию. Все фракции советского большинства заявили о своем преклонении перед мудростью президиума. От имени нашей группы вышел Абрамович, все еще стоявший одной ногой в лагере Дана, другой — в лагере Мартова. Он заявил, что меньшевики-интернационалисты воздержатся по пункту о непредрешении структуры власти и будут голосовать за резолюцию в целом. Не знаю, кто именно давал полномочия Абрамовичу, но я в этом не участвовал. Заметим: Мартов воздерживается по вопросу о коалиции и поддерживает советское большинство. Высшая теория или боязнь всего на свете?..

Но тут остановка вышла с кооператорами. Они «по совести» заявили, что не смогли ориентироваться в вопросах и просили сделать перерыв для размышления и детального ознакомления. Но пере-

рыв был не долог. Кооператоры почти единогласно решили голосовать за резолюцию. Церетели оглашает ее снова. Она гласит:

«1) При решении вопроса о создании сильной революционной власти необходимо требовать осуществления программы 14 августа, деятельной внешней политики, направленной на достижение всеобщего демократического мира, и ответственности правительства перед представительным учреждением впредь до Учр. Собрания. 2) Выделяя из своей среды постоянный представительный орган, С'езд поручает ему содействовать созданию власти на вышеуказанных основаниях, при чем в случае привлечения и цензовых элементов... орган этот может и должен быть пополнен представителями буржуазных групп. 3) В органе этом должно быть сохранено преобладание демократических элементов. 4) Правительство должно, санкционировав этот орган, быть подотчетно ему и ответственно перед ним. 5) С'езд поручает президиуму представить к завтрашнему дню проект выборов постоянного учреждения из состава С езда, а также избрать из своей среды пять представителей, которые немедленно предприняли бы необходимые практические шаги для содействия образованию власти на вышеуказанных началах»...

Голосуют по пунктам. Несмотря на дряблые, нарочито беспозвоночные, ни к чему необязывающие столь типичные для либерального Церетели выражения («необходимо требовать» — и как поступать в случае отказа?), — первый пункт был принят 1150 голосами против 171. Второй принимается 774 голосами против 383. Третий — 941 против 8, при 274 воздержавшихся.

При голосовании пункта 4-го возник шум: откуда взялась «санкция» правительства для предпарламента? Не благодаря ли кооперации с кооператорами во время перерыва? Церетели дает раз'яснения: резолюция никем не редактировалась; он

писал и вставлял, что находил нужным, имея в виду, что все будет поставлено на голосование; но он готов выбросить слова о «санкции». Без них четвертый пункт принимается 1064 голосами против I, при 123 воздержавшихся. Последний пункт прошел 922 голосами против 5, при 233 воздержавшихся.

Результаты голосования были, как видим, вполне удовлетворительны. Большевики проявили большую мягкость и уступчивость. Можно сказать, что на этот раз С'езд проявил достаточное единодушие... Однако, тут сомнений быть не может; причиной этого послужила именно нелепая постановка работ. В три часа ночи, после невероятно бурного и нудного дня, без текста «никем не редактированной» резолюции в руках, огромное собрание было совершенно неспособно ни к деловой работе, ни к простому, пристальному вниманию. Иначе такая резолюция, в сотни раз худшая, чем коалиция, пройти не могла бы...

Да оплошность и была замечена. Перед голосованием резолюции в ее целом требует слова Луначарский. Он говорит так:

— Ораторы от групп и фракций здесь говорили по мотивам голосования. Их заявления строго соотносились с текстом, который был предложен. Граждане кооператоры просили два часа на размышление. Через полчаса они заявили, что резолюция приемлема. Но увы! Смысл резолюции после перерыва оказался значительно измененным... В резолюции появилось выражение, которое понятным образом шокирует некоторых товарищей. Создаваемый орган, оказывается, с о д е й с т в у е т организации власти. Если бы орган, выбранный в каком-ни-

будь государстве для того, чтобы создать власть, был затем превращен в такую организацию, которая содействует власти, это называлось бы переворотом, а не стилистической поправкой... Мы предполагали, что вы хотите создать полномочный представительный орган...

Председатель Авксентьев перебивает.

— Я, как председатель, утверждаю, что в первоначальной редакции было слово «содействует».

Луначарский продолжает:

— А я утверждаю, что у всех нас было твердое убеждение, что дело идет о создании такого представительного органа, который творит из себя власть. Теперь нам говорят, что этот орган содействует какому-то другому органу в создании власти, причем степень этого содействия остается неопределенной. В такой редакции резолюция нас совершенно не удовлетворяет, и мы будем голосовать против нее в целом...

Вот тут Церетели, оскорбленный в своих лучших чувствах, и бросил среди шума, протестов и беспорядка свое знаменитое изречение:

— С этих пор, имея дело с большевиками, я буду всегда брать с собой нотариуса и двух писцов!..

Впрочем, он тут же добавил:

— По соглашению со всем президиумом, я вношу следующую поправку, которая будет способствовать единодушию. Вместо слов «содействовать созданию власти» президиум предлагает: «принять меры к созданию власти».

Церетели «идет навстречу», но поправка его ровно ничего не стоит: формально и фактически она ни на иоту не улучшает дела. Об единодушии никакой речи быть не может. Но этого мало: от имени боль-

шевиков тут выступает знакомый нам Ногин, только что избранный председателем московского совета и большой специалист по части бойкотов и уходов. Он заявляет, что большевики оскорблены заявлением Церетели, и если его не призовут к порядку, их фракция покинет зал. Но как можно призвать к порядку Церетели? Из зала кричат: сделайте милость! пожалуйста, уходите! Начинается скандал. Но безответственным мамелюкам хорошо кричать, а ведь президиуму нужно единодушное залезание в болото. Об'является перерыв.

Возобновляется заседание около 4-х часов утра. Но большевиков в зале нет. В пользу Церетели против Луначарского выпускается целый ряд свидетелей, начиная с воздерживающегося Чернова и кончая голосующим за левым меньшевиком Ерманским. Церетели об'ясняет, что говоря о писцах, он не имел в виду всю партию.

Наконец, голосуют резолюцию в целом, в отсутствие большевиков: за — 829, против 106, воздержалось 69... Дело кончено. Но позвольте, где же единодушие? Ведь сейчас большинство меньше, чем было за коалицию. Только 829 вместо 866. А ведь тогда признали, что большинства, в сущности, нет, что совещание раскололось и провалилось, что «создавшееся положение» нетерпимо, что половина демократии силой навязывает другой свою волю. Теперь сохраняют ли силу все эти высокие соображения? О, нет! Теперь формально развязаны руки звездной палате, и больше ничего не требуется. Демократическое совещание сделало свое дело во спасение революции, и теперь оно может уйти.

Собрание расходится уже под утро. Ему осталось

только «выделить из себя представительный орган». Все остальное сделают без него.

Ну, и что же, — была это сознательная интрига? Обвиняю ли я в сознательном обмане, в заведомых недостойных «махинациях» — ради чести и власти? О, нет. Я совершенно чужд малейших подозрений. Я глубоко убежден, что дело обстоит совсем не так. Полтораста лет мы прожили не даром. Нашу революцию, от начала до конца, возглавляли бескорыстные, глубоко идейные люди. Нет, — здесь, с одной стороны, самозабвенная, слепая преданность «идее», а с другой — рыхлая, политически темная, мещанская и притом смертельно усталая масса...

Но от этого мне не легче.

* *
*

Едва отдохнув 3-4 часа, звездная палата со своими приближенными, уже работала снова. В это серое осеннее утро 21-го она работала в две руки.

Верному Войтинскому было сдано дело организации «представительного органа»: вечером на пленуме «Совещания» нужно было уже утвердить способ и нормы «представительства». Сама же звездная палата перешла к самому важному делу. Мы знаем, что она потребовала права для пяти лиц — немедленно «принять меры к созданию власти». Еще бы! Ждали, «поддерживая» директорию, битых три недели, а сейчас невтерпеж дождаться завтрашнего дня, когда будет сформирован предпарламент. Подавай сейчас же, в четыре часа утра, все права пяти лицам.

Не знаю, кто и когда их выбрал, но едва передохнув после хлопотливой ночи, к десяти часам утра они бросились в Зимний дворец, в бывшие покои Александра III. Что это были за лица? Не было ли, хоть на смех, среди них представителя половины «совещания», не вполне разделяющей светлые идеи Церетели? Не было ли хоть кооператора? Ведь каши маслом не испортишь.

Нет, зачем же! Тут все свои. Тут звездная палата и никого больше, а пуще ни нотариуса, ни писцов. Словом, во дворец с утра явились Чхеидзе, Церетели, Авксентьев и Гоц... Не правда ли, они явились и сказали, что пришли создать новую власть, пришли решить судьбу Керенского?.. Пустяки, — дело было так. Я изложу его, во избежание недоразумений по официальным «Известиям», за редакцию которых отвечает член звездной палаты Дан.

Керенский немедленно принял делегатов и выслушал от них сообщение обо всем происшедшем накануне: «из переговоров выяснилось, что органы демократии готовы, повидимому, признать, что инициатива в деле образования нового кабинета должна принадлежать Вр. Правительству»... После переговоров с представителями демократического совещания Вр. Правительство сочло вопрос настолько подвинувшимся к разрешению, что журналистам было передано для опубликования следующее официальное сообщение: «из осведомленных правительственных кругов сообщают, что политический кризис, вызванный корниловским заговором, накануне благополучного разрешения. Ночное заседание демократического совещания подтвердило уверенность правительства, что государственно-мыслящие круги демократии с'умеют освободиться от анархического

дурмана. Однако, все событиия последних недель указывают на такое усиление процесса разложения в стране, что в правительственных кругах полагают настоятельно необходимым сплотить вокруг коалиционного правительства представителей всех слоев народа для постоянного совещания».

Хорошо? Не правда ли заявление Церетели стоит ответа Керенского? Такой стремительной наглости не вынес бы никто на месте звездной палаты. Но Керенский знал, с кем он имеет дело. В части, касающейся предпарламента, царский дьяк Булыгин в 1905 году не решился бросить кость в такой форме нашим не столь либеральным помещикам... Но откликнется так, как аукнется. Если Церетели заявляет, что «совещание» передало инициативу создания власти в руки Керенского, то неужели он заслуживает корректного обращения с собой?

Но прошу вас не ослаблять внимания, читатель. Нам осталось немного. Следите за всеми стадиями предательства.

Керенский тут же, в 11 часов утра, созвал сначала директорию, а потом и всех своих министров, и об'яснил им, что демократическое совещание, в лице своего президиума, не ставит больше никаких препятствий. И надо спешить. Надо сейчас же вызвать из Москвы уже решенных министров, Кишкина, Бурышкина, Третьякова, Смирнова и пусть разбирают свои портфели.

Впрочем, члена директории Терещенки налицо не было. Он еще накакуне, после дебюта Керенского в Смольном, ускакал в Москву успокаивать биржу и умолять ее не взирать на позорище в Александринке. Терещенку также потребовали немедленно в столицу.

Однако, в этот день, 21-го, желающие читали мою статью в «Новой Жизни», где я утверждал, что коалиция при данных условиях, все же состояться не может. Ведь буржуазные кандидаты всех видов и сортов все полгода вопили именно о независимости правительства, об его самодержавности, как основном условии их работы. Ну, с какой стати они пойдут в кабинет, ответственный перед предпарламентом? Правда, буржуазии нужна власть. И после корниловщины необходимо закрепить после-июльские позиции хотя бы при помощи компромисса. Но такой компромисс, по существу дела, для них приемлем меньше всего. Лучше они поступятся составом кабинета, лучше подпишутся обеими руками под любой программой... Ведь резолюция С'езда гласит о сохранении в предпарламенте «демократического большинства». Этот пункт об ответственности и о предпарламенте звездная палата непредусмотрительно поставила в самой отчетливой и недвусмысленной форме; и держалась этого до последнего момента, не делая попыток замазать его... Я писал в газете, что коалиции при таких условиях нам состряпать не удастся.

И вот к вечеру 21-го из Москвы пришла роковая весть: промышленники категорически отказываются войти в правительство. Они мотивируют нежеланием быть ответственными, кроме своего разума, совести и биржи, еще перед предпарламентом. Ведь главной целью их вхождения в кабинет была борьба с анархией, поднятие армии и пр., а предпарламент с демократическим большинством воспрепятствует осуществлению их программы. Промышленники при этом пеняли на Керенского: «ответственность» де

есть нарушение уже достигнутого соглашения с московской группой...[1])

Как видим, здесь кадеты и промышленники официально об'являли принцип диктатуры плутократии. Но на Керенского москвичи пеняли напрасно: никаких авансов он Церетели не давал и был верен «народной свободе», как Лепорелло.

Впрочем, во главе с Терещенкой, москвичи лично этой ночью скакали в Петербург.

* * *

Это было в Зимнем. А в Смольном днем собралась большевистская фракция демократического совещания. Надо было обсудить, что делать после вчерашнего великого исхода. Бесконечно долго велись пустопорожние суждения — о смысле оскорбительного выпада Церетели и обо всей его «дипломатии». Это не столь интересно. Но возник и интересный вопрос: участвовать ли в предпарламенте? Споры были горячие, и голоса разделились. За участие особенно ратовал Рязанов, и, кажется, Каменев; но Троцкий был против. Жаль, что не известна его мотивировка, имеющая — по ряду соображений — принципиальное значение. Как-будто с Троцким было большинство. Но все же решено было кораблей не сжигать, участвовать в выборах, а там будет видно.

В это время Троцкого ждал собравшийся в большом зале экстренный пленум петербургского совета, чтобы выслушать от него доклад о демократическом совещании. Пока занялись другими де-

---

[1]) См. «Известия», № 178, от 22 сент. 1917.

лами и, в частности, постановили переизбрать Исп. Комитет... Но Троцкий все не являлся и доклад пришлось делать гастролеру, знаменитому московскому большевику Бухарину. Бухарин разгромил корниловщину, потом коалицию, потом меньшевиков и эсеров — и уже больше громить было некого, но заседание фракции все не кончалось, и Троцкий все еще не мог придти. Оратору присылали вестников с просьбой поговорить еще десять минут, потом еще пять, потом еще три минуты. Бухарин послушно начал свои погромы сначала.

Троцкий появился в конце вялых реплик третьестепенных оппонентов, на которых был попрежнему, брошен лидерами (как не стоющее учреждение) петербургский совет. Троцкий сделал второй доклад, разобрав по ниточке резолюцию «совещания», со всеми ее причинами и следствиями.

В итоге петербургский совет 21 сентября сделал довольно содержательное постановление, на которое — в пылу жарких об'ятий в Зимнем — ни буржуазия, ни «демократия» не обратили никакого внимания. Резолюция 21 сентября обрисовала сложившуюся кон'юнктуру, как совершенно безысходную. Корниловская контр-революция снова наступает под откровенным и активным прикрытием «соглашательских» элементов. Вместе с войной и разрухой они задушат революцию. Поэтому дело спасения лежит на одних советах. «Советы должны сейчас мобилизовать все свои силы, чтобы оказаться подготовленными к новой волне контр-революции и не дать ей захватить себя врасплох. Везде, где в их руках находится полнота власти, они ни в каком случае не должны ее упускать. Революционные комитеты, созданные ими в корниловские дни, должны иметь на-

готове весь свой аппарат. Там, где советы всей полнотой власти не обладают, они должны всемерно укреплять свои позиции, держать свои организации в полной готовности, создавать по мере надобности специальные органы по борьбе с контр-революцией и зорко следить за организацией сил врага. Для об'единения и согласования действий всех советов в их борьбе с надвигающейся опасностью и для решения вопросов об организации революционной власти необходим немедленный созыв С'езда Советов Р. С. и Кр. Деп.».

Хорошо?.. Прежде всего, петербургский совет, игнорируя Ц. И. К., снова выступает в качестве всероссийского органа. А затем — его директивы, в сущности, уже означают, так сказать, официально об'явленную анархию — начатое восстание и гражданскую войну... И господа на паркетах Зимнего, при таких условиях, толковали о сильной коалиционной власти! Ведь, кажется, что-нибудь одно. Или из Зимнего надо, как крысам, разбежаться, или надо единым духом раздавить этот новый Смольный со всеми его филиалами, рассеянными по всей стране.

Но для того, чтобы его раздавить надо иметь очень большую силу. А ведь сил не было совсем никаких. Все силы были у нового Смольного, какие только можно было извлечь из народных недр на службу политике...

Увы! не только сил не было, не было и элементарного понимания. В Зимнем не только не могли раздавить, но не умели и видеть. Призыв к восстанию не привлек ничьего внимания среди гвалта о портфелях... Что такое? В Смольном? Но ведь там же никого кроме большевиков. Ведь вся демократия...

* * *

«Вся демократия», кроме большевиков, собралась в 7 часов на пленум «Совещания». Но на этом заседании нам задерживаться нет нужды. Войтинский сделал доклад об основах образования предпарламента. Каждая группа, фракция или «курия», избирает из своей среды 15% своего состава в члены нового «представительного органа». Долгие споры в зале и в кулуарах о том, выбирать ли по «куриям» или по фракциям, опять затянули собрание до глубокой ночи. Решили, что каждый может выбирать как ему угодно, примкнув к «фракции» или к «курии»... Самые же выборы должны были состояться завтра, в специальных собраниях групп... Большевики также назначили в Смольном свое выборное собрание.

А в это время глава правительства, получив из Москвы роковую весть, бросился к центральным кадетам, привлекая их не то в министры, не то в свидетели того, что он в сдаче позиций «всей демократии» не виноват ни сном, ни духом...

Не то утешать, не то вымогать — прилетели в Зимний доблестные Набоков и Аджемов. Судили, рядили. Ничего де, — предпарламент, так предпарламент. Но надо, чтобы цензовики не были подавлены демократией. Сами ведь понимаете, дело ясное. Ведь когда вы с нашим Корниловым двигали третий кор... то-есть, нет — мы не то хотели... Да, — так стало быть, чтобы все, решительно все, общественные группы были в нем, в этом предпарламенте представлены. А главное — это опять-таки вы сами понимаете — ну, разве можно «ответственность»? Что̀, вы сами то хуже предпарламентов смыслите в государственных делах? Полнота власти — это, конечно, первое дело. Без этого и думать нечего.

По словам газет, было «намечено», что правительство будет нести перед предпарламентом «моральную ответственность», но не «юридическую»... Умри, Денис, — лучше не скажешь!

Практически же было решено завтра, 22-го, ровно через два месяца после «исторического» заседания в Малахитовом зале, устроить второе заседание — в Малахитовом же зале. Первое решило третью коалицию, второе пусть решит четвертую. Пригласить надо всех министров, москвичей, кадетских представителей и уполномоченных всей демократии...

Так демократическое совещание «принимало меры к созданию власти».

* * *

Дележ революции на другой день начался в Зимнем с утра. Сначала шли «частные совещания», причем Керенский, считая все общие проблемы решенными, занимался одним перебрасыванием портфелей от одних лиц к другим. Раз уже москвичи приехали, то все раз'яснится и уладится. Нечего время терять...

А в пятом часу открылось новое «историческое заседание», в указанном составе. «Всю демократию» представляла теплая компания, состоявшая из Чхеидзе, Церетели, Гоца, Авксентьева, с добавлением столичных городских голов, эсерствующих кадетов Руднева и Шрейдера, кооператора Беркенгейма и просто обывателя Душечкина. «Представительство» демократии, как видим, было организовано не только самочинно, но с большой наглостью и цинизмом — на глазах у демократического совещания, которое еще не закрылось. Вся делегация состояла из за-

ведомых единомышленников Керенского или Набокова и так же мало могла представлять демократическое совещание, как само это совещание могло представлять демократию.

И результаты мы сейчас увидим. Чтобы читатель мог проследить все стадии предательства, я немного остановлюсь на ходе «переговоров»... Заседание открыл Керенский очень интересной речью. В виду «сложной» и неблагополучной кон'юнктуры в стране, он, глава государства, счел за благо созвать это совещание, «прежде чем опубликовать новый состав правительства». Решения демократического совещания не обязательны для него, как для общенациональной власти. Но правительство очень серьезно прислушивается к его мнениям. Выдвинутая им идея предпарламента приемлема. Предпарламент должен сплотить вокруг правительства все живые силы страны. Власть должна быть коалиционной. Правительство считает для себя обязательной «охрану единого источника власти, исходящего из революции 27 февраля, — власти общенациональной, единой, суверенной и независимой». Правительство продолжает стоять на той точке зрения, что организация власти и пополнение состава правительства принадлежит ныне только Вр. Правительству. Оно руководствуется программой, выработанной в его среде; выработка новых программ и деклараций — «работа тщетная». Предпарламент не может иметь функций и прав парламента, и правительство не может нести перед ним ответственности. Наоборот, организация предпарламента будет принадлежать правительству, которое и привлечет в его состав представителей разных классов. Само собой разумеется, что правительство будет стремиться к солидар-

ной деятельности с предпарламентом... Новая власть должна быть создана сегодня же. Буржуазия и демократия должны сплотиться для борьбы с анархией, от которой гибнет страна.

Керенский знал, что делал, изрекая все это. Любой революционер и демократ, мало-мальски себя уважающий, не затруднился бы разоблачить опереточный характер этого «суверена» и дать отпор его наглости, как бы ни была она наивна. Но перед Керенским не было революционеров и демократов. Люди, пришедшие чтобы предать, конечно, должны были позволить оплевать себя совершенно безвозбранно... Слово, от имени «всей демократии», было, конечно, за Церетели. Но для того, чтобы окончательно загнать в угол бывших советских людей, биржевики взялись предварительно раз'яснить ситуацию. Это сделал, во-первых, оратор единственного партийного Ц. К., представленного на совещании, кадет Набоков, а во-вторых, делегат московской биржи Третьяков.

— Конечно, — заявили они, — мы совершенно солидарны с Керенским. Но любопытно, чтò нам на все это скажут представители демократии. Ведь, кажется, между ними и Керенским целая пропасть. Керенский считает правительство единственным источником власти, а демократический с'езд для создания власти прислал сюда правомочную делегацию. Керенский заявил, что для общенационального правительства программа 14 августа не обязательна, а С'езд поручил исходить из этой программы. Керенский рассматривает предпарламент, как совещание при правительстве, которое оно само для себя организует, а С'езд принял резолюцию, согласно которой правительство ответственно перед предпарла-

ментом... Тут пропасть, а не единение. Пусть граждане-демократы перебросят через нее мост, а потом будем разговаривать.

Ну, как мог ответить на все это Церетели? В ответ цензовикам, взявшим быка за рога, Церетели говорил так:

— По вопросу об источнике власти между нами разногласий нет. С начала революции и при всех многочисленных кризисах, власть санкционировалась, с одной стороны цензовиками, с другой — демократией. Теперь также необходимо соглашение... Затем, у правительства должна быть яркая демократическая платформа. И мы считаем необходимым, чтобы программа 14 августа была положена в основу деятельности нового правительства... Далее, оторванность власти от общественного базиса должна быть устранена. Для этого необходим предпарламент. Функции его должны заключаться в контроле над деятельностью правительства, в пред'явлении правительству права запросов и в праве выражать правительству свое доверие или недоверие...

Это совершенно не удовлетворяет цензовиков. Они всей массой бросились в бой, ибо было ясно, что здесь, при борьбе до конца, они достигнут полной победы. Один прямо потребовал отмены программы 14 августа. Другой прямо потребовал отмены ответственности. Что же касается «источников власти», то тут требовать было нечего, так как Церетели уже отменил резолюцию С'езда и согласился поставить «полномочную демократию» в хвосте свиты Керенского. После десятков пустых речей, уже после полуночи, Церетели резюмирует так:

— Дело не в том, чтобы в декларации правительства была ссылка на программу 14 августа, а в

том, чтобы правительство осуществляло те меры, которые об'единенная демократия перечислила в декларации Чхеидзе в Москве. Что же касается ответственности, то присутствующие представители революционной демократии считают возможным согласиться на то, чтобы предпарламент был созван Вр. Правительством, которое должно выработать и формы его конституции, и чтобы Вр. Правительство не носило формальной, в парламентском смысле ответственности перед предпарламентом...

Впрочем, дать окончательный ответ, а равно и решить вопрос о декларации Церетели предлагал уже завтра. Сейчас было уже три часа ночи, и историческое совещание разошлось по домам.

* * *

А пока судили и рядили в Зимнем, демократическое совещание успело закрыться. Оно ведь было больше не нужно и могло спокойно раз'езжаться. Церетели с Рудневым все отлично сделают сами. Надо было только утвердить состав «представительного органа». Кажется, на заседание собрались часу в шестом. Долго ждали звездную палату из Зимнего, но, наконец, решили обойтись без нее. Я помню заседание фракции меньшевиков-интернационалистов, состоявшееся тут же на сцене и посвященное выборам. Помню, список был общий с официальными меньшевиками («наша партия!»), при чем после каждых двух официальных кандидатов вставлялся один мартовец. Мы составляли т р е т ь меньшевиков, тогда как на июньском советском с'езде мы составляли не больше одной пятой.

Потом, в ожидании звездной палаты, я был сильно занят завтрашней передовицей для «Новой Жизни». Сначала я писал за столом президиума, но очень мешали. Я тогда пошел в одну из артистических уборных, которые были разобраны газетами и превращены в редакционные комнаты, с машинками и прочим; тут, в уборной «Новой Жизни», сидя перед огромным зеркалом, я кончил свою передовицу. Упоминаю о ней по тому случаю, что против двух-трех абзацев этой передовицы от 23 сентября Ленин немедленно направил большую часть своей книжки, вышедшей уже после «октября» и озаглавленной «Удержатся ли большевики у власти?»... Я, как всегда, защищал единый демократический фронт, диктатуру советского блока, предостерегая против диктатуры пролетарского авангарда в мелкобуржуазной и хозяйственно-распыленной стране. Я не упустил сделать это даже в тот момент, когда все внимание, всю полемику, всю силу негодования — было естественно обращать против социал-предателей, хлопотавших над созданием буржуазной диктатуры... Ленин же, из своего подземелья, подводил идеологический фундамент именно под диктатуру большевиков.

Наконец, последнее заседание открылось. Список членов «демократического совета» был утвержден. Это был 15-ти процентный «микрокосм» совещания — в числе 308 человек... Порядок дня был этим исчерпан. Но тут Дан, не участвовавший в переговорах Зимнего, от имени меньшевистской фракции, предложил демократическому совещанию обратиться с воззванием к «демократии всего мира». Текст этого воззвания, оглашенный Даном, должен быть ясен заранее. В нем указывается на критическое положе-

ние русской революции, и все народы призываются «подняться» на ее защиту. Защитить ее можно всеобщим демократическим миром. Народы должны добиться его. Себе же в актив русская демократия может поставить: манифест 14 марта, акт 27 марта и отказ от сепаратного мира... Комментировать нам тут нечего.

Председатель предлагает принять воззвание без прений. Но это вызывает бурные протесты левых. Дан раз'ясняет, что воззвание одобрено большинством фракций и, в частности, Мартовым (?). Но это не убеждает оппозицию. И, в интересах единства, решено передать воззвание в будущий «демократический совет».

Затем Рязанов берет слово для внеочередного заявления и оглашает декларацию от имени большевиков. Она гласит между прочим: «Работы президиума 21-го сентября, с участием представителей партий, имели своей официально заявленной целью из'ятие источников власти из рук безответственных лиц и передачу их в руки организованной демократии. Ответственные руководители, однако, внесли на общее собрание резолюцию с дополнением, смысл которого состоит в том, что Совещание ставит свои решения в зависимость от безответственных лиц и через них от буржуазии. Внесенная в резолюцию формулировка о «содействии созданию власти» и дополнение о санкционировании предпарламента — имели то крупнейшее значение, что обнаружили вполне смысл и содержание закулисной соглашательной работы. Поправки были взяты обратно после решительного протеста части Совещания только потому, что выражавшаяся в этих поправках капитуляция на деле проводится вождями Совещания. Эти по-

правки, явившиеся плодом закулисной сделки и в корне противоречащие тем общим положениям, которые обсуждались и голосовались в президиуме, явились попыткой найти выход из положения, вынудив у демократии окончательное отречение от права на власть»...

Тут все — святая истина, против которой ничего возразить нельзя... А в заключение большевики заявляют, что они идут в предпарламент только для того, чтобы «в этой новой крепости соглашательства развернуть знамя пролетариата и облегчить советам создание истинно-революционной власти»... Аналогичное заявление делают и левые эсеры. И не естественно ли, после этого, что председатель, закрывая демократическое совещание, с удовлетворением отметил, что оно нашло таки «общий язык»?..

Запели «Интернационал», потянулись из Александринки и растеклись по лицу земли русской, не дождавшись завершения сделки чугунного котла с глиняным горшком в Малахитовом зале.

* * *

А между тем в Малахитовом зале работали на совесть, и сделка двигалась на всех парах... Церетели лично изготовил проект правительственной декларации и, к полудню 23 сентября, торги уже начались снова. Газеты, на другой день, меланхолически подводили итоги. «Принято о привлечении к продовольственному делу частного торгового аппарата». «Исключено указание на государственное синдицирование промышленности»... Было констатировано, что «налог на военную прибыль установлен в размерах, угрожающих самому существованию про-

мышленности». «Принят поимущественный налог, но без указания, что он должен быть высоким и единовременным» («убить курицу, несущую золотые яйца» и т. д.). «Отвергнуто требование принудительного размещения займа». «Признана совершенно неприемлемой передача земель в руки местных комитетов, — представители демократии отказались от этого требования». «Отвергнуто требование, чтобы комиссары на местах избирались и утверждались правительством». «Признано совершенно неприемлемым признание за народностями права на полное самоопределение». «Встретило возражение требование присутствия на предстоящей союзной конференции представителя демократии; решено, что демократия назовет своего кандидата, но пошлет его правительство»... Наконец, «после возражений кадетов и промышленников представители демократии не сочли возможным требовать роспуска Гос. Думы»...

Так был решен вопрос о программе 14 августа, сакраментальной и непреложной. О предпарламенте и ответственности сообщалось так. «От цензовых элементов должно войти в него 120—150 человек». «Признано необходимым, чтобы правительство в ближайшие дни выработало и опубликовало положение о предпарламенте и его регламент». «Функции предпарламента определены следующим образом: он имеет право обращаться к правительству только с вопросами, но не с запросами. Он разрабатывает законодательные предположения, которые поступают на рассмотрение правительства в качестве материала. Наконец, предпарламент будет обсуждать вопросы, которые будут ему переданы правительством или возникнут по его собственной инициативе». «Вопрос о формальной от-

ветственности был отвергнут почти без прений». «Представители демократии настаивали на моральной ответственности; но промышленники и кадеты категорически возражали против всякой ответственности: нельзя декретировать моральную ответственность». «Представители демократии пошли на уступки. Никакой ответственности правительства перед предпарламентом не установлено».

Все пункты договора были пройдены. Кадеты и промышленники заявили, что они, с своей стороны, могут считать соглашение окончательным. «Демократы» же просили подождать до завтра: им надо еще получить санкцию от выделенного совещанием демократического совета... Дело было уже вечером. Отложили до утра.

Некоторые подробности об этих переговорах сообщает в своих воспоминаниях один из их активнейших участников, Набоков (см. берлинский «Архив русской революции», ст. «Вр. Правительство»). Я очень рекомендую интересующимся заглянуть в эти воспоминания. Там, между прочим, описано, как Церетели убеждал биржевиков. Основным его аргументом, по словам Набокова, было то, что «всей демократии» с кадетами и промышленниками надо составить единый фронт для борьбы с большевиками. Большевистская опасность была его коньком и исходной точкой. «Разве вы не видите, — восклицал Церетели, — обращаясь к Набоковым и Третьяковым, — что̀ будет, если к власти придут большевики?»... Ни в каких газетах я не видел отголоска подобных речей бывшего советского лидера. Очевидно, эти аргументы он употреблял в приватных переговорах, когда налицо не было нотариуса и двух писцов. Но Набокову приходится верить. Ведь

ему бы не предположить и не сочинить того, что Церетели хлопотал о новой коалиции именно ради борьбы с большевиками.

Между тем, Набоков продолжает. Во время переговоров де выяснилось, что Церетели уезжает на Кавказ и не будет участвовать в предпарламенте. Набоков спросил тогда: а с кем же вести без него переговоры и соглашения? Церетели указал, как на своих наследников, на Дана и Гоца. Действительно, когда новая коалиция уже работала, а Церетели уехал, пришлось свидеться с Гоцом и Даном. И вот, когда речь зашла о большевиках, Дан деликатно отвел эти разговоры, как неуместные и недопустимые в такой компании. Набоков, в изумлении, вскричал: помилуйте! как? да ведь мы для того и вступали в соглашение, чтобы единым фронтом бороться с большевиками! Дан с неменьшим изумлением удалился и, кажется, больше не возвращался...

Да, эти приемы «политики» были монополией Церетели. К ним — «ради идеи» — не прибегали даже его ближайшие политические и личные друзья... Прав ли Набоков в том, что Церетели, в его хлопотах о коалиции, руководствовался именно большевистской опасностью? Этого я не думаю. Во-первых, Церетели этой опасности не видел и реальной ее не признавал; иначе он не шагал бы до последнего момента в те самые дебри, в которых зародилась и развивалась большевистская опасность. А во-вторых, что же за средство против большевизма была коалиция? Каких же сил мог прибавить ему Набоков, союз с которым окончательно двинул в наступление большевистские полки?..

Нет, Церетели большевиков не боялся. Но других пугал ими благородный советский дипломат.

В процессе переторжки, при помощи большевиков, он играл на понижение второстепенных кадетских требований, уступив им, по совести, во всем основном. Однако, дипломат-то был благородный, но жалкий. Ему не уступили ни иоты, а он уступил все, что имел и чего не имел. Он проиграл все в пределах данных ему прав, а в придачу проиграл и все права демократического совещания.

* * *

Теперь надо было получить санкцию всем этим подвигам в новоиспеченном «демократическом совете». Он должен был собраться днем 23-го в большом зале городской думы. Я лично явился туда около четырех часов и оставался в здании думы чуть ли не до утра. Действие происходило в Александровском зале.

Среди вялого и беспорядочного настроения заседание открыл эсеровский патриарх Минор. Он предлагает начать с конструирования, избрать президиум и хозяйственные органы. Кандидатов, конечно, намечать по фракциям. Об'является перерыв, который затянулся до бесконечности и, можно сказать, извел как депутатов, так и вольную публику. Меньшевики заседали в кабинете городского головы. В числе необычных людей, не из Смольного, помню группу кавказцев, во главе с Жордания, а также Н. К. Муравьева, который счел за благо присоединиться к меньшевикам. Обсуждали и голосовали что-то очень скучное, а затем выбирали членов президиума и «совет старейшин». Помню, произошел маленький скандал из-за того, что я и еще один или два левых пошли обедать в ресторан на Михай-

ловской улице, а в это время в «совет старейшин» прошел Богданов вместо интернационалиста... Но в общем фракции покончили свои дела довольно скоро. А пленум, конечно, не открывался, так как делать было нечего: «комиссия» все еще не возвращалась из Зимнего дворца.

Депутаты, приученные к терпеливому ожиданию начальства, редко испытывали такое томление духа, как в этот необыкновенно скучный осенний день... Основная масса «демократического совета» или будущего предпарламента была все та же, хорошо знакомая нам по Смольному и Таврическому. Но все же налицо здесь было 300 человек, и партийная периферия была значительно расширена. Большевистская фракция насчитывала 66 человек, — при чем сюда были командированы сливки столиц и провинции. Такого кадра большевистских генералов и штаб-офицеров мы в Смольном не видели.

Больше всего было, конечно, эсеров. Но эта «самая большая партия» служила единственным предметом развлечения собравшихся в думе в этот нудный день. Начав заседать в зале думских заседаний, эта фракция вскоре разделилась на три части, борьба между которыми и занимала нас. В числе прочей знати, в демократическом совете оказалась Брешковская, которая, вкупе с кооператорами и либералами, возглавила правую часть. Налево была весьма компактная группа интернационалистов, во главе с Камковым, Карелиным и Спиридоновой; эти держались еще более независимо и непримиримо. Но официальные то эсеры были в середине: центр. комитет шел туда — не знал куда и т. д. И во главе этой средней под-фракции стоял воздерживающийся Чернов.

Все это было бы еще туда-сюда. Но дело в том, что официальные эсеры, вместе с Ц. К. и Черновым, были **самой маленькой** под-фракцией. Они заседали до самого вечера, пока не открылся пленум. Чернов говорил бесконечно, но это не помогало. Крошечная армия признанного лидера, монопольного теоретика, единственного крупного деятеля партии — таяла все больше... Из зала думских заседаний по временам выходили угрюмые фигуры эсеров. На них бросались с ироническими вопросами. Ну, что? как у вас?.. Они только сердито отмахивались.

В те же часы в Смольном состоялось немноголюдное заседание Ц. И. К. Там Троцкий поднял вопрос о взаимоотношениях между Ц. И. К. и «демократическим советом». Не будет ли поглощен Ц. И. К. новым учреждением, со всеми его функциями, органами и средствами? В принятой формуле перехода, однако, было раз'яснено, что Ц. И. К. остается на своем месте, и право распоряжения его органами и имуществом принадлежит только советскому с'езду.

В порядке дня заседания и был, собственно, вопрос о созыве этого с'езда. Большевики справедливо обрушились на лидеров за нарушение конституции, согласно которой с'езд должен был собраться уже в середине сентября. Большевики теперь требовали передачи дела созыва с'езда в руки двух столичных советов или, по крайней мере, особой комиссии. Но Дан заявил, что Ц. И. К. никому не передоверит своих функций и немедленно приступит к работам по созыву с'езда. Сроком, после долгих пререканий, было назначено 20-е октября...

* * *

Наконец, часов около 8, измученных и голодных депутатов стали созывать на пленум «демократического совета». Многие не выдержали и ушли. Но все же было налицо человек 220... Провозгласили президиум. Большевики протестовали против Чхеидзе — за его пристрастие на с'езде и на «совещании». Но все же он, при поддержке друзей, сел на свое место и предоставил слово докладчику — о создании власти.

Церетели, однако, был верен себе: как и раньше в щекотливых положениях, он потребовал закрытия дверей... Возмущение было велико — и слева, и со стороны посторонней публики, томившейся в ожидании сенсации целый день. Начались было горячие реплики в пользу гласности. Тайны от народа! В первом же заседании новоявленного парламента!.. Но ничто не помогло. Церетели заявил, что при нотариусе и писцах он не сможет говорить достаточно полно и откровенно. В пользу закрытия дверей набралось 105 голосов, против — 70. Публика с проклятиями удалилась, и Церетели приступил к «отчету».

Он был потом полностью напечатан в «Известиях» от 26 сентября. Но я на нем останавливаться не стану... Не забудем о том, что известные нам условия «соглашения», напечатанные на другой день во всех газетах, в этот момент еще не были известны никому из депутатов. И Церетели излагал их совсем не в том виде, как они приведены мною выше. Он сделал все, чтобы притупить внимание огромной массой пустопорожних технических подробностей «исторических совещаний». Самые же «пункты» были изложены не только в сокращенном, но и в замазанном виде — особенно насчет от-

ветственности и предпарламента («ответственность при том строе, который мы устанавливаем, фактически неизбежна»...). Закончил же оратор просьбой принять «этот наиболее приемлемый выход из кризиса, дающий возможность довести страну с наименьшей опасностью потрясений до Учредительного Собрания».

Церетели был верен себе. Однако, он не мог не видеть, что его дело, с начала до конца, основано на сомнительных «махинациях», и его собственная роль — хотя и направлена ко благу отечества, но выглядит не особенно привлекательно. Те, кто присутствовал на этом заседании, вероятно, помнят, что *таким* Церетели они еще никогда не видели и не слышали. Выступивший потом Троцкий формулировал правильно: «доклад произвел странное впечатление: можно было подумать, что докладчик старался больше убедить себя, чем других, или считал, быть может, что если собрание сделает выводы, противоположные задаче доклада, то он сам с этим примирится, как с неизбежностью: убежденности и уверенности в тоне и в аргументах не было»...

Таким Церетели мы еще не видели. Уж не чудилась ли ему пропасть, в которую он тащит революцию?.. Увы! — поздно. Дело сделано, раскаиваться и думать некогда. Церетели сошел с трибуны — и уже не вернулся на нее: это было его последнее публичное выступление в качестве «ответственного» лица в революции. А все это дело было его последней победой.

Был снова об'явлен перерыв для обсуждения во фракциях. У меньшевиков дело прошло очень быстро, — не потому, чтобы положение было не затруднительно, а потому, что время было позднее, и

уже не было силы тянуть дальше эту канитель. Положение же было явно затруднительное: с одной стороны из меньшевиков не было ни одного человека, который считал бы сделку удовлетворительной; с другой — большинство этих мягкотелых, бескровных оппортунистов явно не могло взять на себя риск сорвать эту сделку. Почти без прений решили санкционировать соглашение. Момент был очень напряженный: ибо большинство получилось всего в один или, максимум, в два голоса (единодушие всей демократии!). Но «санкция» выражалась в такой резолюции, которая, казалось бы, в других условиях никак не могла удовлетворить самих авторов сделки — в случае их минимального уважения к тем, кто дает санкцию, или к самим себе. Резолюцию эту наспех составил Дан:

«Демократический Совет, заслушав доклад т. Церетели, признает образование предпарламента, перед которым правительство обязано отчетностью, крупным шагом в деле создания устойчивой власти и проведения в жизнь программы 14 августа... Демократический Совет находит необходимым установить формальную ответственность правительства перед предпарламентом и, признавая в данных условиях приемлемым намеченное соглашение, заявляет, что власть может принадлежать такому правительству, которое пользуется доверием предпарламента».

Для комментариев мне жаль времени и места. Замечу только, что за «отчетность» тут, по дружбе, выдано «права вопросов»; а «крупный шаг» считается с того момента, когда сама звездная палата, питая после-июльскую реакцию, снабдила Зимний дворец неограниченными полномочиями.

Эта «историческая» резолюция была немедленно передана для руководства в другие фракции. Но в большинстве их также дело порешили скоро: ни ко-

операторам, ни большевикам спорить было не о чем... Во втором часу ночи стали звать на пленум. Но никак не могли дозваться эсеров, которые заперлись в соседнем зале думских заседаний и также демонстрировали там единодушие демократии. За резолюцию Дана там решительно не набиралось большинства. Правые были готовы снизойти до нее с высоты своего кадетства; левые были решительно против. Но левые, камковцы, ведь были автономны и безнадежны. Вопрос заключался в соотношении брешковцев и черновцев. Первых оказалось большинство, но черновцы решительно отказывались ему подчиниться и голосовать за резолюцию Дана. Все, на что они соглашались — это воздержаться, ради партийной дисциплины... Наконец, эсеры появились. Иронии со всех сторон по адресу Чернова не было конца. Положение старого лидера было незавидным и со стороны казалось довольно смешным. Самому развеселому экс министру было, однако, теперь не до смеха.

Прения, конечно, были ограничены выступлением фракционных ораторов. Первым выступил Троцкий. Говорил он отлично, но не использовал впопыхах всего уничтожающего материала, который давала вся отвратительная картина сделки. Констатируя, что делегаты действовали в Зимнем не только в противоречии с волей народных масс, но и вопреки полученным директивам, Троцкий, от имени большевиков, требовал прекращения переговоров с буржуазией и приступа к созданию истинно-революционной власти. В том же духе говорил Карелин от имени левых эсеров.

Дан от имени меньшевиков очень кисло отзывался по существу о совершенной сделке, но снова распи-

нался за коалицию, не видя иного выхода... Великолепно говорил Мартов, разоблачая и незаконность, и нелепость действий делегации. Затем выступал правый эсер, Руднев, потом еще мелкие фракции и в заключение, сверх программы, «бабушка» Брешковская... Но ясно, что споры были бесполезны: во фракциях дело уже было решено.

Вносится несколько резолюций; но «за основу», конечно, принимается резолюция Дана. Как же обстоит дело с единодушием демократии? За резолюцию поднялось 109 человек, против 84, воздержалось 22 — группа Чернова. Все это, вместе взятое, было совершенно скандально. Но ведь, по существу дела, резолюция отразила только то, что было в действительности, в среде нарочито подобранной демократии. А формально цель была достигнута — санкция получена. И Церетели мог скакать с радостной вестью в Зимний дворец.

Однако, возбуждение было слишком велико; слишком широко разлился пафос презрения. И «историческая» ночь не кончилась без скандала... Каменев, чтобы сорвать резолюцию (как было на демократическом совещании!) вносит в нее «поправку»: первыми актами вновь создаваемого правительства должны быть — отмена смертной казни и роспуск Гос. Думы.

Поднимается шум, слышатся возгласы о провокации, воцаряется полный беспорядок. Дан немедленно разоблачает: Троцкий заявил президиуму, что поправки вносятся в целях срыва коалиции! Троцкий бросается на трибуну и подтверждает это во всеуслышание. Каменев, стоящий на трибуне со своими поправками, бьет кулаками по столу и кричит: да, да! мы хотим сорвать коалицию!..

Начинаются, среди безнадежного шума и хаоса всякие раз'яснения, увещания, угрозы. Наконец, поправка Каменева проваливается.

Но впоследствии многие вспоминали об этой поправке, сделанной большевиками, — когда, став властью, они, в застенках, стали лить кровь, как воду, без суда... Я же лично помню, как мой личный друг, немножко знакомый нам доктор Вечеслов, замечательной и честнейшей души человек, устроил тут же истерику по случаю провала большевистских поправок. Тогда меньшевик-интернационалист (избранный в предпарламент), он вскочил с места и неистово закричал:

— Позор! Я вижу врачей, голосующих против отмены смертной казни. Этого никогда еще не видела российская общественность! Я протестую против этого позора...

Впоследствии доктор Вечеслов, вслед за юными своими сыновьями, ушел к большевикам и упорно помалкивал насчет смертной казни. Это всегда для меня служит уроком: разоблачай гнусность и борись с ней, но никогда не суди от личности, ad hominem в революции. Знай раз навсегда: тут возможны самые неворятные психологические комбинации...

После провала большевистской поправки, по тому же пути пошли левые эсеры. Они внесли: первым актом правительства должна быть передача земель в ведение земельных комитетов... Тут началось уже нечто невообразимое. Дело было уже под утро, все были изнурены и взвинчены до крайности, собрание утеряло всякое подобие организованного сборища, председатель выбивался из сил... С этой поправкой дело было сложнее: эсерам предстояло

голосовать против земли, что было почти немыслимо для эсеровского массовика.

Снова начались увещевания, разоблачения, угрозы. Иные пытаются из протеста уйти. Но их удерживают для вотума. Чернов сходит с президентской эстрады и расхаживает по проходу, иронически наблюдая, кто как голосует. Его осыпают руганью... Наконец, поднимаются руки и поправка о земле отвергается.

Мы расходимся по мокрым, холодным, пустым улицам около 6 часа утра. Коалиция торжествует, Церетели победил. С большинством в 3 голоса в кармане (с «санкцией» «всей демократии»!) он может скакать в Зимний дворец и вручать самодержавную власть друзьям Корнилова.

* * *

И Церетели поскакал лишь только наступило утро... Его довольно сурово встретили в Малахитовом зале. Ночная резолюция, конечно, не удовлетворила биржевиков. Ведь там опять речь идет об ответственности правительства! При таких условиях соглашение должно считаться несостоявшимся.

Но Церетели, от имени всей демократии, стал успокаивать цензовиков. Они не так поняли резолюцию. Смысл ее в том, что Демократический Совет одобряет соглашение, состоявшееся накануне. Он, правда, является сторонником ответственности, но он не требует ее, как условия, а будет ее добиваться парламентским путем в самом предпарламенте...

Так говорил Церетели. В ответ ему кадеты и промышленники сказали, что они вполне удовлетворены его раз'яснениями и считают соглашение достигнутым. Об этом довели до сведения самого Керенского, которому оставалось только опубликовать состав нового правительства.

Дело было кончено. Период междуцарствия, директории, правления «пяти» — период, тянувшийся ровно месяц, — был благополучно завершен новой — четвертой коалицией.

Я слишком затянул, размазал, просмаковал этот эпизод демократического совещания? Я это хорошо вижу... Но ведь читатель всегда имеет полную возможность сократить свой читательский труд и ускоренным темпом пробегать страницы. Мне же хотелось, не щадя времени и места, оставить на бумаге весь этот материал. Пусть не пропадет для желающих ни один штрих в этой печальной картине разложения и упадка нашей «советской демократии», некогда всесильной и славной во всех народах. Пусть те, кто хочет, всмотрятся подольше в эту картину и оценят всю глубину унижения нашей некогда могучей февральской революции.

---

5. ДЕЛА И ДНИ ПОСЛЕДНЕЙ КОАЛИЦИИ

Снова бутафория. — Но где власть? — Кто «правил» нами. — Нарушение традиции. — Троцкий — председатель совета. — Война вместо «поддержки». — Вся власть у большевиков. — В петербургском Исп. Комитете. — У меньшевиков-интернационалистов. — Дела Учр. Собрания. — Справа или слева опасность? — Милая сценка в «совете старейшин». — Вокруг будущего предпарламента. — В забытой стране. — Железнодорожная забастовка. — Братцы-рабочие и министр-президент. — Подвиги министра Никитина. — Дело Центрофлота. — Новые попытки удаления «контр-революционных» и ввода «революционных» войск. — Экономическая разруха. — Кризис топлива. — В Донецком бассейне. — Забастовки. — Анархия и погромы в деревне. — «Меры» неограниченного правительства. — Как спасает Ц. И. К. — Солдатские буйства. — События в Туркестане. — В действующей армии. — Немецкий десант. — Доблесть красного флота. — Воевать больше нельзя. — Парижская конференция союзников. — Зимний продает Россию. — В Смольном. — «Похабный мир». — Ц. И. К. вспомнил о мире. — Но что он сделал? — Его закрытые заседания. — Его замечательное решение. — Наш великолепный делегат на парижскую конференцию. — «Наказ Скобелеву». — Попытка бегства правительства от внутреннего врага. — Куда бежать. — Избирательный бюллетень или заряженная винтовка.

Итак, мы вернулись к старой, после-июльской, до-корниловской коньюнктуре. Четвертая безответственная коалиция восстановила и

вновь утвердила формальную **диктатуру буржуазии**... Эта новая «неограниченная» буржуазная власть была создана ровно через два месяца после образования третьей коалиции, ровно через месяц после выступления Корнилова и ровно за месяц до... Но не будем предвосхищать событий. Пусть идут своим чередом. Напомним только о том, что уже, повидимому, не требует особых пояснений. Диктатура биржи была формально налицо, но фактически ее не было ни признака. Это была попрежнему одна бутафория. Но, в отличие от прежнего, когда некоторые атрибуты власти находились в руках **друзей и пособников** буржуазных «диктаторов», — **теперь** вся наличная реальная сила находилась в руках их заведомых **классовых врагов**. В июле и в августе мелкобуржуазный Совет еще сохранял обрывки своей власти; теперь же, с советами в придачу, эта власть ушла к большевикам. И вся кон'юнктура была нелепа и нестерпима пуще прежнего. Государственной власти не было, государства не существовало.

Это было так ясно, что даже буржуазно-бульварная печать не ликовала. Новую коалицию встретили безо всякого энтузиазма. Лучше других — с виду — были настроены «победители» демократического совещания. Правая часть демократии демонстративно, хотя и не убедительно, радовалась на свое детище. А «Известия», по должности, подпевали. Зато левая, интернационалистская часть взялась за дело вплотную и, не давая ни отдыха, ни срока, взяла прямой курс на **свержение** новой «власти».

Но надо же познакомится хоть чуть-чуть поближе с этим продуктом месячной стряпни. Что за новые люди правили нами?.. Большинство, мы, собственно,

уже знаем. А новые были: Коновалов — министр торговли и промышленности и заместитель министра-председателя; Ливеровский — министр путей сообщения; председатель московского областного военно-промышленного комитета Смирнов — государственный контролер; Кишкин — министр призрения; председатель московского биржевого комитета Третьяков — председатель Экономическ. Совета; Малянтович — министр юстиции, а министр труда — Кузьма Гвоздев.

Уже одно наличие Коновалова (ныне кадета) показывало всю глубину падения революции. В половине мая он был вытеснен ее напором, был выброшен из среды господствующих элементов, будучи не в состоянии вынести ее очередных дел и задач. Теперь эти задачи были отменены и дела забыты. Коновалов, как ни в чем не бывало явился на свой пост и даже замещал главу правительства.

Что же касается социалистов, создававших коалицию, то фракция их состояла ныне из — Никитина, Прокоповича, Малянтовича и Гвоздева. Кроме последнего, тут все заведомо ничем не отличались от кадетов. Гвоздев же, единственный человек, некогда пребывавший в Таврическом дворце, был меньше всего способен и склонен к какой-либо политической оппозиции. Словом, социалистов в кабинете не было, и коалиции тоже не было. Было обыкновенное буржуазное министерство — по составу, гораздо худшее, чем первое революционное правительство Гучкова-Милюкова. Но об этом, о составе, об одиозных лицах и т. п. — наша полномочная комиссия ныне и не заикалась. Керенский жаловал портфели, а Церетели с признательностью принимал всякое даяние. И от имени всей демократии

об'явил этот махровый букет цензовиков коалицией всех классов.

Новое правительство опубликовало и декларацию. Ее составил Церетели и исправили биржевики. Но нам с ней делать нечего. Во-первых, эти клочки бумаги (их уже было много), как бы ни были широки их обещания, никогда не служили ни для чего, кроме удовольствия глупых советских Маниловых и мамелюков. А, во-вторых, ведь мы знаем: программа 8-го июля была сильно урезанной декларацией 6-го мая; декларация 14-го августа была сильно урезанной (ради единства) программой 8-го июля; программа же 26-го сентября была окончательно урезанной декларацией 14-го августа. Увы! этого не могли скрыть даже «Известия», с веселой миной, глотая слезы, хлопотавшие о доверии и поддержке...

Сейчас биржевики держали себя полными хозяевами положения и действительно были ими — если не в стране, то на территории Зимнего. Правда, после корниловская кон'юнктура выбила из под них почву и заставила растеряться; но «готовность» Церетели, действовавшего от имéни «всей» — замазала кон'юнктуру, исправила дело, поставила на твердую почву цензовиков. Сейчас они не имели нужды унижаться до лицемерных обещаний. И пусть желающие сравнят декларации наших правительств за разные периоды революции.

Вместо «мира без аннексий и контрибуций» ныне появился «д у х демократических начал, возвещенных революцией». Вместо «усиления прямого обложения имущих классов» — «повышение существующих и введение новых косвенных налогов». Вместо «мысли о переходе земли в руки трудящихся» — «упорядочение поземельных отношений и существую-

щих форм землевладения». Вместо «государственной организации производства» — «широкое использование частного торгового аппарата». Наконец, вместо «полного и безусловного доверия всего народа», как необходимого условия работы, — в новой декларации мы видим одни только «долг присяги» и принцип самодержавности.

* * *

Но так или иначе новое правительство создано — с его контр-революционной программой и с его безответственностью. Теперь, казалось бы, надо поступить согласно традиции, на основании шестимесячного опыта. Надо броситься в пленумы советских органов и потребовать беззаветной поддержки новых благодетелей. В Центр. Исп. К-те дело обстояло более, чем сомнительно. Большинство трех голосов в «демократическом совете», конечно, принадлежало не советским элементам. Лучше не ставить этого вопроса в верховном советском органе. Как-нибудь обойдемся и без его резолюции о поддержке. Пусть дело понимается так, будто бы «демократический совет» заменил собой законный всероссийский центр советов.

Ну, а петербургский совет? Ведь он начал революцию и был источником революционной власти — что бы там ни лепетали на этот счет в Зимнем дворце. Петербургский совет решал и первую коалицию. И с тех пор он, как страж революции, был, можно сказать, восприемником каждого нового правительства. Не правда ли, звездная палата и теперь должна броситься в петербургский совет, отдавая под его крыло свое новое детище?

Увы! сейчас об этом не могло быть даже и помышления. Уже три недели как оттуда выгнали звездную палату — именно за ее коалиционное помешательство. Нет, Церетели больше не сунет носа в эту твердыню революции ни со своими «идеями», ни со своей стряпней... Да, ведь, в сущности, петербургский совет уже достаточно высказался о новой власти в резолюции 21-го числа: он уже об'явил ей войну, настоящую войну — всей организацией масс и силой оружия, если она потребуэтся. Нет, о поддержке теперь думать поздно. Надо теперь ухитриться править революцией без этой поддержки. Церетели и Коновалов, очевидно, полагают, что они сумеют править без поддержки. Ну, что ж, попробуйте! Ведь неограниченная власть — в ваших руках. Об этом писали даже в газетах.

* * *

Церетели не пошел в петербургский совет. Но это не помешало совету всенародно об'явить свое суждение о новой власти. В самый день оформления коалиции в Смольном состоялось заседание совета. Заседание было довольно знаменательно. На место временного президиума, командированного секциями, сейчас предстояло избрать президиум настоящий и постоянный. Кто же займет место Чхеидзе, с отсутствием которого все еще не хотел мириться привычный советский глаз.

Большевики исполнили свое обещание, несмотря на то, что большинство их уже окончательно окрепло: они пошли на коалиционный президиум. Большевикам — пропорционально численности фрак-

ций — приходилось занять 4 места, эсерам 2 и меньшевикам — одно. Эсеры командировали Чернова и молодого Каплана, специально состоящего при петербургском совете. У меньшевиков же к совету был приставлен Бройдо... Четверо большевиков были: Троцкий, Каменев, Федоров и новый на петербургских горизонтах, старый большевистский работник Рыков.

Председателем стал Троцкий, при появлении которого разразился ураган рукоплесканий... Все изменилось в совете! С апрельских дней он шел против революции и был опорой буржуазии. Целых полгода служил он плотиной — против народного движения и гнева. Это были преторьянцы звездной палаты, отданные в распоряжение Керенского и Терещенки. И во главе их стояла сама звездная палата... Теперь это вновь была революционная армия, неотделимая от петербургских народных масс. Это была теперь гвардия Троцкого, готовая по его знаку штурмовать коалицию, Зимний и все твердыни буржуазии. Спаянный вновь с массами совет вернул себе свои огромные силы.

Но кон'юнктура была уже совсем не та, что прежде. Совет Троцкого не выступал, как открытая государственная сила, ведущая революцию. Он не действовал методами оппозиции, давления и «контакта». Он был скрытой, потенциальной, революционной силой, собирающей элементы для всеобщего взрыва... Эта скрытость и потенциальность затемняла глаза и жалким, бутафорским «правителям», и обывателю, и деятелям старого советского большинства. Но дело от этого не менялось. И успех будущего взрыва был обеспечен. Ничто не могло противостоять новой сокрушающей силе

совета. Вопрос заключался только в том, куда же поведет его Троцкий? Чем еще богат он, кроме сокрушения?.. Ну, поживем — увидим.

А сейчас, в своей первой председательской речи Троцкий напомнил о том, что собственно не он занял место Чхеидзе, а наоборот — Чхеидзе занимал место Троцкого: в революцию 1905 года председателем петербургского совета был Троцкий; но сейчас перспективы не те; новому президиуму приходится работать при новом под'еме революции, который приведет к победе...

Впрочем, Троцкий прибавил тут еще несколько слов, искренне веря, что ему со временем не придется презирать эти слова и сочинять теории для оправдания противоположного. Он сказал:

— Мы все люди партий, и не раз нам придется скрестить оружие. Но мы будем руководить работами петербургского совета в духе права и полной свободы всех фракций, и рука президиума никогда не будет рукою подавления меньшинства.

Боже, какие земско-либеральные взгляды! Какая насмешка над самим собой. Но дело то в том, что примерно через три года, в час, когда мы вместе с Троцким предавались воспоминаниям, Троцкий, задумавшись на минуту, мечтательно воскликнул:

— Хорошее было время!..

Да, чудесное! Может быть, ни одна душа на свете, не исключая его самого, никогда не вспомнит с *такими* чувствами о времени правления Троцкого...

На этом же заседании, 25 сентября, Каменев сделал доклад о новой коалиции. Пробовал было выступить в ответ бывший министр Скобелев — опять не с отчетом, а *с советом*; но из всего огромного

пленума его резолюция собрала только 19 голосов... Эсеры еще кое-как держались в приличных размерах. Но меньшевики неудержимо и быстро-быстро теряли кредит среди масс... Огромным большинством, по поводу образования новой власти, совет принял такую резолюцию: ... «Новое правительство войдет в историю революции, как правительство гражданской войны. Совет заявляет: правительству буржуазного всевластия и контр-революционного насилия мы, рабочие и гарнизон Петрограда, не окажем никакой поддержки. Мы выражаем твердую уверенность в том, что весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: в отставку!.. Совет призывает пролетарские и солдатские организации к усиленной работе по сплочению своих рядов вокруг своих советов, воздерживаясь от всяких частичных выступлений»...

Такими необычайными приветствиями встретил петербургский совет новую власть. А накануне, в описанном заседании «демократического совета», Троцкий перечислял те крупнейшие провинциальные советы, которые заведомо скажут то же самое, то-есть — уже находятся в руках большевиков: московский, кавказский краевой, финляндский областной, одесский, екатеринбургский, донецкого бассейна, Киева, Ревеля, Кронштадта, почти всей Сибири и прочая и прочая... Вы, граждане Коновалов и Керенский, полагаете, что сможете управлять революцией без их поддержки? Ну, что-ж, попробуйте! Ведь вы получили из рук Церетели «всю полноту власти».

Мы спускались по лестнице Смольного, рассуждая о новых делах.

— Эй, Володарский! — крикнул кто-то сверху. — Завтра где?

— Завтра? — ответил шедший со мной Володарский, — завтра на Патронном...

Да, большевики работали упорно и неустанно. Они были в массах, у станков, повседневно, постоянно. Десятки больших и малых ораторов выступали в Петербурге, на заводах и в казармах, каждый божий день. Они стали своими, потому что всегда были тут — руководя и в мелочах, и в важном всей жизнью завода и казармы. Они стали единственной надеждой, — хотя бы потому, что будучи своими, были щедры на посулы и на сладкие, хоть и незатейливые сказки. Масса жила и дышала вместе с большевиками. Она была в руках партии Ленина и Троцкого.

* * *

В те же дни, тайным голосованием, на пропорциональных основах, был переизбран петербургский Исполнительный Комитет. Из 44 избранных членов две трети были большевики. Меньшевиков было всего 5 человек. Наша же группа, меньшевиков-интернационалистов, — группа составлявшая основное ядро первого Исполнит. К-та, начавшего революцию, — не получила ни одного места... Это было для нас, быть может, и печально, но совсем не удивительно. Дело было, собственно, не в том, что нам пришлось взять на себя грехи официального меньшевизма, с которым группа Мартова до сих пор окончательно не порвала. Дело было и не в том, что у группы до сих пор не было литературного органа, основного орудия агитации и пропаганды, —

ибо «Искра» все еще никак не могла выйти. Дело, наконец, было и не в том, что мы, лидеры, совершенно забросили советскую работу, почти не показывались в Смольном и оторвались от его «низов»... Нет, дело было не в «частностях», а в основном: наша позиция, по крайней мере, в своей положительной части, была ненужна, излишняя для масс. В отрицательной, критической части мы, мартовцы и новожизненцы, совпадали с большевиками. На арене тогдашней борьбы против коалиции и буржуазии мы стояли рядом с ними. Мы не сливались потому, что некоторые штрихи положительного большевистского творчества, а также и приемы агитации вскрывали перед нами будущий одиозный лик большевизма. Это была разнузданная, анархистская мелкобуржуазная стихия, которая только тогда была изжита большевизмом, когда за ним уже снова не осталось масс. Этой стихии мы боялись.

Но массы не боялись ее, ибо не могли ни разглядеть ее, ни оценить ее значение. И от землелюбивой эсеровщины, от мещанского меньшевизма эпохи всеобщего благодушия — массы легко и неизбежно перекатывались через наши головы к тем, кто — как и мы — был готов сокрушить ненавистную керенщину, но — не в пример нам — был щедр на сладкие, топорно-простые фантазии и примитивной демагогией апеллировал к творчеству самих масс, разнуздывая мелкобуржуазную стихию...

Наши марксистские теории, как живая препона растущим настроениям и неудержимо вздымающейся стихии, были непонятны и досадны массам, едва-едва вкусившим благ свободного политического развития. Наша последовательная пролетарская классо-

вая идеология была ненужна и обидна рабочим и и солдатам нашей мелкобуржуазной страны. Разочарованные, усталые и голодные массы перекатывались через наши головы — от эсеровско-оппортунистской обывательщины к большевистскому сокрушительному гневу, ко всеобщему разделу и неведомому благоденствию. Наша пролетарско-марксистская позиция не находила себе места среди бушующей стихии. Наша «промежуточная» группа легко перетиралась между огромными катящимися валами близкой гражданской войны.

В новом петербурском исполнительном комитете, где мы некогда играли руководящую роль, мы не получили теперь ни одного места. Впрочем, об этой нашей роли в первый период революции, не только не помнили, но и не знали массы — в калейдоскопе головокружительных событий. О ней знали только вожди. И, очевидно, в память о первых славных неделях, большевистский Исполнительный Комитет, в первом же заседании, постановил кооптировать нашу группу с совещательным голосом: меня, Соколова, Капелинского, Соколовского, нашего лидера Мартова и, кажется, Стеклова.

Не могу сказать, как воспользовались другие своими правами, исходившими от любезности новых хозяев совета. Я лично, к сожалению, припоминаю единственный раз, когда я участвовал в заседании Исполнительного Комитета. Председательствовал Троцкий, все люди были новые, все было по новому. Не знаю, почему я не привился там. Но, впрочем, и новое положение не особенно затягивало в новую работу.

* * *

В группе же меньшевиков-интернационалистов продолжалось сильное брожение. Петербургская организация таяла. Массовики и активные работники, массовым и единичным способом, перетекали к большевикам. Надо было серьезно заняться «положением дел в организации». Начались усиленные партийные собрания, и снова ребром стал на очередь вопрос о расколе. Пребывание в единой партии с Потресовым и Церетели стало действительно нестерпимым для большинства. Ведь баррикада была уже воздвигнута между нами, и ежечасно мог начаться бой. Помимо теории и морали — было очевидно, к чему на практике приводит уния с Даном и Церетели... За раскол было большинство. Но решительно против был Мартов, с группой ближайших заграничных друзей, Мартыновым и Астровым. Все же решили отозвать интернационалистов из Центрального Комитета. Но в общем положение было попрежнему неопределенным. И партия разлагалась.

Вопрос о расколе особенно обострялся предстоящими выборами в Учредительное Собрание. К ним уже начали основательно готовиться и партии, и государственные учреждения. Газеты ежедневно печатали всякие распоряжения и указания насчет техники выборов, а также и партийные кандидатские списки. У меньшевиков дело было сложно. Надо было быстро решить, допустимы ли общие списки с оппортунистами. Раздельные списки и отказ от блока, в сущности означал раскол. Вопрос был решен именно в пользу раздельных списков. И вообще говоря, практические выгоды и невыгоды для обеих частей партии взаимно компенсировались. Но в частности, в отдельных случаях получались скандалы. Так, петербургская ор-

ганизация, бывшая в руках интернационалистов, составила список только из своих людей. Этим выбрасывались все лидеры официального меньшевизма, что было совершенно неприлично для последнего. После долгих хлопот и ходатайств Мартова, решили было внести в список Церетели. Но это вызвало такой отпор в районах, что Церетели — к ужасу и негодованию буржуазной печати — был спешно вычеркнут опять. Официальный меньшевизм остался не представленным в столице. Но зато крыло Потресова, также независимое от Ц. К., решило выступить с собственным списком.

Впрочем, все это характеризует только положение дел у меньшевиков, но никак не среди избирателей. Меньшевики вообще и в столице, в частности, уже почти не имели шансов. Даже и эсеры, в качестве промежуточной партии, быстро стирались с арены революции, а меньшевики тем более. Промежуточный избиратель быстро дифференцировался и спешил примкнуть к одному из двух вооруженных лагерей, между которыми должна была произойти схватка, это были крупная буржуазия и пролетариат, кадеты и большевики...

Именно в дни создания новой коалиции произошли показательные выборы в московские районные думы. Совсем недавно в Москве эсеры монополизировали центральную городскую думу. Сейчас они собрали вдвое меньше голосов, чем большевики. На втором же месте оказались кадеты. Меньшевики из 560 мест получили только 25. Из 17 тысяч голосов гарнизона 14 тыс. было подано за большевиков. «Интеллигентный» же обыватель цеплялся за корниловцев. Так разделялась Россия. И бывший всемогущий блок

промежуточных партий уже был почти оттеснен с поля бивы.

Я помню в эти дни одно заседание нашего — мартовского — «центра», посвященное выборам в Учредительное Собрание. Мы собрались в новом для меня помещении, — в Смольном, в третьем этаже, поблизости от хоров, смотревших в большой зал. Велись долгие прения о раздельности списков, при чем Мартов был направо, и вопрос был решен против него. Но я был склонен идти дальше. Я поставил вопрос о блоке с большевиками. Некоторые отнеслись сочувственно. Но Мартов решительно восстал и между прочим сказал в своей речи:

— Тяготение к большевикам в настоящий момент совершенно несвоевременно. Сейчас для революции предстоит опасность слева, а не справа!..

Быть может, Мартов проявил здесь большую прозорливость и уменье находить истинную дорогу среди отвлекающих попутных огней. Но должен признаться, что для меня лично, после корниловщины, после демократического совещания и реставрации буржуазной диктатуры, — движение слева представлялось не в аспекте опасности, а в аспекте спасения...

Вопрос о блоке с большевиками был, насколько помню, окончательно не решен: он споткнулся на те соображения, что большевики ни в каком случае не пойдут на блок с нами; для этого они слишком сильны и «самодовлеющи»; и слишком энергично ведут свою подготовку к выборам, уже повсюду выставив готовые списки, возглавляемые в большинстве случаев самим Троцким.

Но считаю не лишним заметить, что наши разногласия с Мартовым в эту эпоху, как будто стали

систематическими. В нашей группе стали намечаться два течения. С Мартовым была группа старых меньшевиков-заграничников — Семковский, Астров, Мартынов, — тяготевших к старому партийному лону. Налево же вместе со мной, были петербуржцы и, в частности, работники старого Исп. Комитета... Мартов довольно ревниво оберегал свое влияние и представительство всей организации близкими ему элементами. Именно в эти дни вышла, наконец, «Искра», в виде еженедельной газеты. Редакция не только была составлена помимо меня, но и ни разу всерьез не пригласила меня писать в «Искре». Между тем, в ряду ее ближайших сотрудников (не считая самого недосягаемого Мартова) я был, несомненно, довольно заметной писательской силой.

* * *

Кажется, в тот же самый день, когда мы судили об Учредительном Собрании (по некоторым признакам — 28 сентября), после вечерней работы в редакции, я отправился в Смольный. Мне хотелось повидать Троцкого и «нащупать почву» относительно выборных блоков большевиков с мартовцами. Троцкий был в Смольном, но заседал в зале бюро, в «совете старейшин» будущего предпарламента.

Положение о предпарламенте «спешно», но не особенно быстро вырабатывалось в некоем «юридическом совещании» при правительстве. Там, под предводительством кадета Аджемова, дело о предпарламенте решали «лучшие научные силы». Ездил туда и Церетели, чтобы выторговать от имени всей

демократии какие-то знаки препинания. Но, видимо, успеха не имел.

Я зашел за Троцким в залу заседания, шокируя своим одиозным видом все тех же, хорошо нам знакомых «старейшин». Уж не хочет ли этот Суханов пустить что-нибудь лишнее в газету?.. Большевики (Троцкий и Каменев) сидели в сторонке, на своих обычных местах, справа от председателя. Троцкий был в каком-то необычном виде: длинное серое пальто и очки в металлической оправе вместо пенсне.

На счет блоков с меньшевиками-интернационалистами он отозвался корректно, но настолько сдержанно, что исход дела был ясен... Я сел рядом с Троцким послушать, что говорят «старейшины». И услышал филиппику Церетели против права запросов, на котором, видимо, настаивл кто-то из присутствующих. Нет, в интересах революции — только право вопросов, но зато уже на них должен быть дан ответ в определенный срок... Затем последовали еще какие-то пункты положения о предпарламенте. И Церетели, который явно ничего не выторговал в Зимнем, с жаром возражал в Смольном против «расширения» функций и прав. Но и без того столыпинская Дума, под сапогом Распутина, казалась идеалом всевластного, преисполненного величием парламента сравнительно с этим несказуемым плодом тупости и предательства...

Я хорошо помню этот вечер. Я еще никогда не испытывал такого резкого и нестерпимого чувства унижения и стыда: до чего довели великую революцию!.. Я помню — я стал задыхаться, не то от гнева, не то от чего то еще, подступавшего к горлу.

— Что же это делается? — наивно и «бессознательно» обратился я к Троцкому.

Но Троцкий только посмеивается своим беззвучным смехом с полуоткрытым ртом... Я тогда не понял его равнодушия. Но, в сущности, оно было ясно. Ведь для Троцкого все вопросы были тогда окончательно решены. Он жил уже по т у сторону. А что творилось по э т у — его не касалось. Пожалуй, чем хуже, тем лучше...

Я вернулся на Шпалерную, в «Новую Жизнь», выпускать газету. Мы в это время нещадно и необыкновенно дружно бомбардировали Керенского, Коноваловых и всю их благодетельную власть. В газете у нас была хорошая атмосфера, а внимания нам уделяли все больше — и враги, и друзья...

Вообще, насколько помню, от газеты я испытывал удовлетворение — больше прежнего. Но помню также, как угнетали меня физические факторы. Я все еще жил на Карповке, и бесконечные путешествия туда после выпуска, мокрыми осенними петербургскими ночами, мне вспоминаются уже совсем иначе, чем очаровательные прогулки по улицам Петербургской Стороны в розовые, щебечущие утра незабвенной весны...

* * *

Да, — новая коалиция занялась вплотную высокой политикой, утверждением своих неограниченных прав и обузданием своего еще невидимого врага, чреватого кознями п р е д п а р л а м е н т а. Друзья Корниловых и Керенских уже заранее ахали, вздыхали и кивали. «Новое Время» пугало, — как бы предпарламент не превратился в «конвент» с Ма-

ратами и Сен-Жюстами. «Речь» извергала потоки презрения и сарказмов. Но и «социалистический» «День» нашептывал обывателю, что сходство этого «совещания» с настоящим законодательным учреждением, пожалуй, взвинтит головы ленинцам и полуленинцам. Пожалуй, предпарламент потребует настоящих прав, да еще сорвет коалицию, и конечно, Россия тогда немедленно погибнет... Понятно, что слушая и мотая на ус, всевозможные Аджемовы старались. И не уступали Церетели ни одной запятой.

Не заботились ли они при этом о правах Учредительного Собрания? Не боялись ли они предвосхитить их, благодаря искусственно состряпанному предпарламенту?.. Пустяки!.. Они помнили только об одном: в предпарламенте будет большинство из демократии, и нет решительно никакой возможности состряпать в нем свое собственное, надежное корниловское большинство...

Что же касается Учредительного Собрания, то ведь обманывать себя было невозможно: цензовая Россия там будет в совершенно ничтожном меньшинстве. И вместе с тем, для него уж никак не выработать подходящей конституции ни Аджемову, ни самым лучшим «научным силам». Для охраны своего самодержавия нашим неограниченным правителям остается только одно: оттянуть его созыв, насколько возможно, в надежде на счастливые случайности — «июльского» или корниловского свойства...

В Москве уже давно заседало знакомое нам «совещание общественных деятелей», возникшее перед «московским совещанием», месяца полтора тому назад. Керенский официально заявлял, что это частное учреждение, в его глазах, стоит на одной доске с

частным «демократическим совещанием». И вот там, на первых порах последней коалиции, реакционные помещики и генералы «подняли голос» о том, что в настоящее время невозможно технически и политически производить выборы, в виду анархии в стране. Да и власть к Учредительному Собранию еще не подготовлена, и никаких законопроектов не выработано... Правительство не принимало этих речей к обязательному исполнению, но к авторитетному голосу внимательно прислушивалось. Наоборот, неустанными защитниками Учред. Собрания и его скорейшего созыва являлись у нас тогда большевики. О, божественная Клио, как злы иногда бывают твои шутки!

Однако, вся эта высокая политика, все это утверждение конституции, все эти старания «правителей» укрепить свою диктатуру — нисколько не затрагивали жизни страны. Между тем страна жила, и жизнь ее была неблагополучна. Неограниченные правители пытались вмешиваться и управлять, но из этого решительно ничего не выходило. Каждая такая попытка была вызовом и провокацией народного возмущения. Иного результата и значения эти попытки не имели. И постольку «правление» новой коалиции нельзя считать вредным. Огромный вред ее для страны заключался не в ее действиях, а в самом ее существовании. Ибо нельзя было стране существовать тогда без правительства, способного к творческой революционной работе.

* * *

День рождения последней коалиции ознаменовался не только избранием Троцкого и резолюцией быв-

ших преторианцев об отказе в поддержке. В тот же знаменательный день началась недавно обещанная, но давно ожидаемая железнодорожная забастовка. Это было огромным ударом и величайшим позором для революционного правительства... Железнодорожники обнаружили не только огромную сплоченность и дисциплину. Даже обывателю импонировала удивительная корректность, солидность и патриотизм их руководителей, стоявших во главе колоссальной армии. На фоне поведения стачечников резко и всенародно выделялось поистине хлестаковское поведение властей — с мелким обманом, из ряда вон выходящей небрежностью и с глупым фанфаронством.

Мы знаем, что терпение железнодорожников испытывалось уже давным давно — при содействии Ц. И. К., всегда готового служить буржуазному государству против рабочих. Стачечники требовали не больше, не меньше, как проведения в жизнь уже принятых правительством и уже опубликованных правил о повышении их нищенских ставок (правила 4-го августа, за подписью тов. министра путей сообщения Устругова). В течение пяти с лишним недель правительство, занятое гораздо более важными делами, не сделало ничего для проведения своих собственных декретов. Железнодорожники тогда пред'явили ультиматум, выше мною упомянутый, об удовлетворении их в недельный срок. Но сдержать всю армию главари были все же бессильны. Частичные забастовки начались раньше срока. При этом вся страна была оповещена не только о причинах стачки, как единственно оставшегося ныне средства воздействия, но и о том, что забастовка совершенно не затронет ни обороны, ни продоволь-

ствия страны: из сферы забастовки совершенно исключались все прифронтовые дороги, все оперативные, военные и продовольственные поезда, откуда и куда они бы ни направлялись.

Получив ультиматум, правительство через два-три дня назначило большую и весьма авторитетную комиссию. Но комиссия никак не могла собраться. Помилуйте, ведь это было в самый разгар переговоров о власти! До того ли было министрам! Конечно, они не являлись. Было испробовано и самое радикальное средство: авторитетнейшее и всеми чтимое лицо, сам Керенский, выпустил воззвание-приказ к железнодорожникам. Сравнительно с этими документом, знаменитое обращение царского министра Витте к «братцам рабочим» может почитаться образцом такта и корректности. Министр-президент, заявив, что «меры приняты», прошелся по части измены родине, чего он не потерпит, по части «суровых мер», какие он будто бы может предпринять.

В дело, как всегда вмешался Ц. И. К. Он взял на себя обязательство во что бы то ни стало удовлетворить железнодорожников: только отмените забастовку. Происходили долгие и тяжелые заседания. Но теперь было поздно. Если некоторые из вождей были не прочь последовать увещаниям, то масса не могла больше ни верить советским меньшевикам, ни подчиниться их новым призывам к патриотизму. Верховный советский орган не имел больше никакого авторитета...

За двое суток до срока, представители стачечников и Ц. И. К. были совместно у главы государства. Керенскому было совсем не до того, но все же он нашел выход. Он назначил новую комиссию, взамен

старой, — только из трех министров. Может быть, хоть три то явятся!

Все это, вместе взятое, совершенно вывело из себя жел.-дор. рабочих. Их движение по всей стране за эти дни стало приобретать политический характер. Как из рога изобилия посыпались резолюции, выражающие глубокое презрение негодной власти и требующие ее отставки. Огромная армия квалифицированных рабочих, играющих исключительную роль в жизни государства, была отброшена влево, в лагерь большевиков.

Всероссийская забастовка началась ночью 24-го. Тут стачечники уже расширили свои требования рядом пунктов. Но все же забастовка прошла только тремя голосами в центральном комитете железнодорожников. Это означало, что правительство должно было хотя бы только дать повод к ее прекращению, и она будет прекращена. Так и было. Дороги стояли только двое суток. Власти заявили, что они уступают. Правительство уже без комиссий декретировало новые нормы, частично удовлетворяющие железнодорожников. Этого было довольно. Посредники обязались уладить остальное, и забастовка, по мановению своего центра, была прекращена.

Роль правительства была жалкой и вызывала презрение. Встряска же рабочих была огромная... Может быть, однако, надо поверить Коновалову и Бернацкому, что государство не могло, не имело средств удовлетворить своих нищенствующих рабочих?... Пустяки! Ведь для перестройки и пополнения государственного бюджета не было попрежнему сделано ничего. Нельзя же было одновременно делать заявления о неприкосновенности военных

прибылей и предлагать поверить непреодолимым бюджетным препятствиям.

Во время железнодорожной забастовки истинным министром-социалистом показал себя известный социалдемократ Никитин. В качестве министра почт и телеграфа он отдал приказ: не передавать телеграмм железнодорожного союза. Почтово-телеграфный союз отказался исполнить: будем передавать телеграммы и правительства и стачечников; право сношений будем охранять, и орудием ни в чьих руках служить не станем... Министр заявил, что он «прекращает с почтово-телеграфным союзом всякие сношения». Союз же подавляющим большинством выразил Никитину недоверие. При этом лишь немного голосов не хватило и для недоверия всему правительству... Неограниченный кабинет имел суждение: как быть с недоверием министру? Решил — игнорировать. Министр продолжал свою высоко-полезную деятельность. Но Центр. Комитет меньшевиков предложил этому министру оставить партию... Как будто все это достаточно красноречиво.

* * *

Только что начав «править», коалиция успела испортить себе отношения еще с третьей категорией населения, непосредственно подчиненного правительству. Это был флот. Впрочем, здесь морской министр держался безупречно, как истинный демократ и товарищ; а «Центрофлот» явно зарвался и проявил ребячливость не в меру. Дело началось из-за таких пустяков, о которых и упоминать не стоит; при чем первая же попытка «прервать сношения» с

министром вызвала отставку Вердеревского. Тогда Центрофлот стал бить отбой, и конфликт был бы легко ликвидирован. Но правительство постановило распустить Центрофлот. Это взорвало матросов, которые немедленно повысили свои требования — до пределов высокой политики. Вмешался Ц. И. К. И правительству пришлось отменить роспуск Центрофлота. Но отношения обострились до крайности. Флот решил опять-таки «прервать сношения» с правительством и опять-таки был целиком отброшен к большевикам... Впрочем, что касается службы и выполнения боевых приказов, то в этом отношении флот держался безупречно.

Все эти взаимные «прекращения сношений» были бы, конечно, очень смешны, если бы они не означали развала государства.

А наряду со всем этим власти возобновили свои перемещения войск — с политическими целями. В Смольный поступало одно известие за другим: выводятся такие и такие то части; на место их вводятся казаки... После корниловщины подобные операции были совершенно немыслимы. Правительству и Керенскому уже никто не верил. В политических целях этих мероприятий уже не сомневался никто. И результаты были ясны. Приказы не выполнялись. Делегации направлялись в Смольный, выступали с речами в петербургском совете или в солдатской секции; а потом принимались постановления: не выполнять приказов о перемещениях войск без предварительной санкции советских органов... Для правительства был один конфуз, а государство разлагалось.

* * *

Ликвидация железнодорожной забастовки не избавила нас от величайших затруднений с транспортом, грозивших парализовать нашу хозяйственную жизнь. У железных дорог не было топлива. Не было его и у промышленности, и газеты ежедневно сообщали о закрытии десятков предприятий. Правда, для этого не всегда были об'ективные причины. Локаутное движение развивалось по всей стране, как никогда. Промышленники еще никогда не имели более благоприятной политической кон'юнктуры для наступления на рабочих. Если теперь, после корниловщины, неограниченная власть попала в руки биржи, то стало-быть дело налаживается, революция остановлена и реакция прочна. Осталось только скрутить «анархию»... И иные, хорошо понимающие публицисты стали уже с удовлетворением проводить параллели между настоящим и недавним прошлым. Пресловутый Амфитеатров в своем сатирическом журнале, с высоты теперешнего благополучия, с презрением высмеивал «изжитую эпоху», когда сотни тысяч ходили по улицам с плакатами: «долой десять министраф-капиталистаф!»...

Однако, вся эта видимость реставрации, воплощенная в неограниченных правителях, Коновалове, Смирнове, Третьякове и Терещенке, — могла только форсировать локауты, но не могла изменить общей картины разрухи.

Вместе с транспортом разваливался другой базис народной экономики. Повторяю, не было топлива. До сих пор недостаток топлива об'яснялся кризисом транспорта, разрушенного войной. Ныне расстройство транспорта стало зависеть и от недостатка топлива. Главный его источник, Донецкий бассейн,

не давал больше самого урезанного минимума. Предстояло огромное сокращение питания железных дорог, муниципальных предприятий и промышленных центров. Нашу металлургию ожидал близкий крах. А с ней была неизбежна и всеобщая хозяйственная катастрофа.

Чем об'яснялось положение в Донецком бассейне? Наши «господствующие» группы и их печать знали только одно об'яснение: «анархия» и «эксцессы» рабочих. Но это была неправда. Эксцессов тут не было; но было налицо сильное понижение производительности труда, порождаемое бестоварьем. Не было смысла зарабатывать денежные знаки, лишенные покупательной силы.

Это была первая причина. Устранить ее было возможно только организацией снабжения рабочих. План такой государственной организации (районный комитет снабжения) был уже давно разработан. Но Коновалов и Третьяков решительно отказывались утвердить его. Это был их метод управления. Со стороны советских органов они ныне не встречали ни отпора, ни давления, ни контроля, и — готовился крах.

Вторая причина развала в Донецком бассейне заключалась в следующем. Правильная разработка копей требует больших и дорогих подготовительных работ, которые с началом войны почти прекратились. Угольный синдикат («Продуголь») ограничивался хищнической выработкой того, что было подготовлено раньше. Его политикой было сокращение производства и повышение цен. Были известны случаи, когда отдельные предприятия получали от синдикатов сотни тысяч премии за неразработку своих пластов. Но, с другой стороны,

подготовленный фонд все же исчезал, и рост продукции был уже невозможен... Делу могло помочь и тут только одно решительное вмешательство государства. Однако, государственное синдицирование, как известно, было вычеркнуто из программы последней коалиции. Оно, правда, не осуществлялось бы и в том случае, если бы сохранилось на этом клочке бумаги. Но во всяком случае все «социалистические утопии» ныне уже были отвергнуты формально; и серьезные государственные умы той эпохи все свои надежды громогласно возлагали на частную инициативу компетентных торговцев и промышленников... Это был метод управления, который готовил крах.

Забастовок в Донецком бассейне в это время не было. Но новая сильная власть в некоторые пункты все же послала казаков. Это вызвало волнения и угрозу забастовки.

У второго же основного источника нашего топлива, на Бакинских нефтяных промыслах, в эти дни началась стачка... Стачечные волны вообще перекатывались тогда сплошь по всей России и стали совсем бытовым явлением. Бастовали все, — но из этого ровно ничего не получалось. Деньги дешевели с каждым часом. К этому времени в стране обращалось уже на 2 миллиарда бумажек. Повышение денежной платы — когда им кончались забастовки — нисколько не помогало рабочим. Но и успех имели стачки не всегда. Наоборот, предприниматели энергично наступали и без стеснения нарушали данные обязательства. Знаменитое «общество фабрикантов» отказалось от соглашения, заключенного в июле. В результате готовилась забастовка солидных и неповоротливых «слу-

жащих». И снова бастовали казенные и муниципальные работники... О восьмичасовом рабочем дне не было теперь и помину. Министерство труда, во главе с Гвоздевым, билось, как рыба об лед, но на него никто не обращал внимания.

* * *

Но были и гораздо более серьезные признаки нашего тогдашнего благополучия. «Беспорядки» в России принимали совершенно нестерпимые, поистине угрожающие размеры. Начиналась действительно анархия. Бунтовали и город, и деревня. Первый требовал хлеба, вторая — земли. Новую коалицию встретили голодные бунты и дикие погромы по всей России. Передо мной случайные сообщения о таких бунтах — в Житомире, Харькове, Тамбове, Орле, Екатеринбурге, Кишиневе, Одессе, Бендерах, Николаеве, Киеве, Полтаве, Ростове, Симферополе, Астрахани, Царицыне, Саратове, Самаре и т. д. Всюду посылались войска, где можно — казаки. Усмиряли, стреляли, вводили военное положение. Но не помогало... В Петербурге не громили, но просто голодали и — выжидали.

Мужички же, окончательно потерявшие терпение, начали вплотную решать аграрный вопрос — своими силами и своими методами. Им нельзя было не давать земли; их нельзя было больше мучить неизвестностью. К ним нельзя было обращаться с речами об «упорядочении земельных отношений без нарушения существующих форм землевладения»...

Но это была сущность коалиции. И мужик начал действовать сам. Делят и запахивают земли,

режут и угоняют скот, громят и жгут усадьбы, ломают и захватывают орудия, расхищают и уничтожают запасы, рубят леса и сады, чинят убийства и насилия. Это уже не «эксцессы», как было в мае и в июне. Это — массовое явление, это волны, которые вздымаются и растекаются по всей стране. И опять случайные известия за эти недели: Кишинев, Тамбов, Таганрог, Саратов, Одесса, Житомир, Киев, Воронеж, Самара, Чернигов, Пенза, Нижний-Новгород... «Сожжено до 25 имений», «прибыл для подавления из Москвы отряд», «уничтожаются леса и посевы», «для успокоения посланы войска», «уничтожена старинная мебель», «убытки исчисляются миллионами», «идет поголовное истребление», «сожжена ценная библиотека», «погромное движение разрастается, перекидываясь в другие уезды»... и т. д. без конца.

Ну, и что же неограниченная коалиция? Она, конечно, имела суждение. Докладывал Никитин. Постановлено — «решительные меры, не останавливаясь перед...» На следующий день (29-го) придумали еще нечто: «особые комитеты Вр. Правительства». Они должны быть при губернских комиссарах и вообще иметь строго официальный характер. Это подчеркнуто. Ибо власть ведь совершенно неограничена, самодовлеюща, ни от каких советов и комитетов не зависит, никаких «частных» органов не знает и знать не желает... Но по существу это, конечно, было всегдашней апелляцией к организованной демократии в трудных обстоятельствах. Ее представители должны были войти в «комитеты» и воздействовать на население... Боже, какое жалкое зрелище!

Но «революционная демократия», конечно, вняла

и пошла навстречу. Она и сама видела, что положение становится невыносимым... В самых первых числах октября Ц. И. К. имел самое тщательное суждение об анархии и погромах. Было принято постановление об экстренной организации на местах советских и партийных комиссий; они должны, во-первых, развить самую широкую противопогромную агитацию, а во-вторых силами местных советов пресекать беспорядки в самом зародыше, «не останавливаясь перед» и пр...

Ц. И. К. рассматривал погромное движение в аспекте контр-революции. Это было правильно лишь в очень небольшой степени. В значительно большей степени Ц. И. К. хотел прикрыть такой постановкой вопроса свою жалкую позицию... Разумеется, по существу, нельзя возразить ни против агитации, ни против вооруженной силы. И моральное, и полицейское воздействие не возбраняются государству.

Но все же — как не удивляться старому, одряхлевшему на службе коалиции Ц.И. К-у, который согласен рассматривать себя, как учреждение педагогическое или полицейское, но не согласен — как политическое?.. Прячась сам от себя, боясь стать на путь оппозиции, он не видел, что погромное движение есть политическая проблема... Каждый либерал старого порядка хорошо понимал разницу между механическим и органическим воздействием. Он говорил царским приказным: не налегайте на бесполезные репрессии, искорените причины. Наш жалкий Ц. И. К. уже далеко отстал от старых либералов. Он уже не понимал, что крестьянин громит и бунтует, отчаявшись в земле, а рабочий — обезумев от голода. И Ц.И.К. уже не смел сказать своим жалким

идолам: гарантируйте землю, добудьте хлеб, организуя товарообмен с деревней. Живой труп, возглавляющий советы, не смел пролепетать свою собственную программу 14 августа... Кого он обманывал, подсовывая вместо нее педагогику и полицейскую силу, мораль и свинец, маниловщину и корловщину?

Но увы! и господа из Зимнего ныне тщетно надеялись на испытанную защиту советской демократии. У их друзей в Смольном уже не было за душой ни слова, убедительного для голодных и усталых, ни штыка, опасного для погромщиков. Эти промотали все, чем были богаты. Управляйте сами, как умеете!

Кроме аграрных и голодных, не мало смуты вносили еще и специальные солдатские бунты — собственно «буйства» темных вооруженно-сильных людей. Происходили погромы и стычки уже совершенно бессмысленные, порожденные подневольной злобой, казарменной тоской и нервной подозрительностью... Елизаветград, Орел, Могилев, Иркутск, Саратов, Феодосия. Особенно же мелкие провинциальные центры, а также железные дороги страдали от солдатских бесчинств. Отношения к командирам и офицерам, окончательно взорванные корниловщиной, продолжали оставаться невыносимыми. Не верили никому — разве только редким экземплярам большевистского офицерства. О самосудах, правда, не сообщала даже кадетская «Речь». Но в балтийском флоте история после-корниловских избиений все еще была не ликвидирована. В Ц. И. К. вернулась из Финляндии его специальная делегация (Соколов и др.), которые докладывали, что расследование убийств там не

движется и саботируется, а общая атмосфера остается тяжелой и напряженной. Ц. И. К. вторично принял резолюцию (30-го сент.), но это были пустые звуки.

Все еще не ликвидирована была и громкая история с туркестанским «бунтом». Началась эта история еще за сутки до демократического совещания. Но в петербургском совете ташкентская делегация докладывала ее 2-го октября, жалуясь на полное извращение истории в печати и на поведение официальных властей... Движение началось на почве голода, в связи с явными злоупотреблениями должностных лиц. Солдаты взялись самочинно бороться с ними. Последовали репрессии. Солдатская масса требовала устранения местного официального правительства и передачи власти своим советским выборным. В совете и в Исп. Комитете было эсеровское большинство. Но после репрессий оно легко пошло навстречу солдатам, арестовало местную власть и захватило город. Другие города Туркестана стали разделяться — за и против законной власти... Воевали не особенно серьезно, непрерывно шли переговоры и публичные об'яснения. Надо думать, что вскоре все бы успокоилось и вошло бы в норму. Но престиж власти этого допустить не мог. Керенский, наполеоновским штилем, отдал приказ о посылке в Туркестан карательного корпуса — с артиллерией и прочим. «Ни в какие переговоры с мятежниками не вступать»... «в 24 часа»... «понесут наказание по всей строгости» и т. д. Ну, еще бы! Ведь Туркестан не Дон; Совет Рабочих и Солдатских Депутатов не войсковой круг; ташкентцы подняли «мятеж» и «отложились» не как донские казаки, не под корниловскими лозунгами. А во

главе движения стоит не Каледин, а... партийные товарищи министра-президента.

Не лишен некоторой колоритности такой эпизод. Радикальнейший член Вр. Правительства, большой демократ и социалист Верховский, призвал к себе представителей этих самых корниловских донских казаков и потребовал от этих надежнейших элементов содействия в деле усмирения Туркестана. Он заявил, что Донской бригаде уже отдан приказ двинуться в Ташкент. Представители Вандеи, однако, ответили, министру-«социалисту», что ни на какое усмирение они не пойдут. Уже раз Корнилов вел их против большевиков, а вышло, что Керенский, вместе с Верховским об'явили их мятежниками. Довольно!... Как чувствовал себя лучший из министров коалиции после этого ответа — в газетах не сказано.

Но зато в карательной экспедиции принял видно участие верный оруженосец Церетели, член Ц. И. К., некий Захватаев — по существу октябрист, но официально «социалдемократ» из газеты «День». Suum cuique!

Ташкентская история была очень громкой, но совсем не исключительной. Если в Ташкенте «отложился» и захватил власть эсеровский совет, то это с тем большей последовательностью проделывали советы большевистские. Карательных отрядов хватить не могло. Если так отвечали славные донцы, то как же надеяться на прочих? В распоряжении Керенского были одни «наполеоновские» окрики. Этого было явно недостаточно, и государство разлагалось.

* * *

Однако, хуже всего было положение в действующей армии. Здесь был, как и раньше, корень и центр всей кон'юнктуры... Надо сказать, что обещанные реформы Верховского двигались очень туго — даже в пределах устранения высшего командного состава, замешанного в корниловщине. «Верховный главнокомандующий», несомненно, оказывал этому самое сильное сопротивление. В конце демократического совещания к нам в «Новую Жизнь» прислал письмо за официальными подписями, могилевский (там была Ставка) исп. комитет с. р. и с. д.; в письме говорилось: напрасно обольщаются те, кто верит Верховскому, Ставка, за исключением арестованных главарей мятежа, находится доселе в неприкосновенности... При таких условиях армия не только не могла возрождаться, но можно было ежеминутно ожидать эксцессов и даже всеобщего рокового взрыва.

Это была одна сторона дела. Другая была все в том же голоде, который принимал на фронте ужасающие размеры. Было очевидно для всякого добросовестного зрителя, что наша армия, хотя и держит на восточном фронте 130 германских дивизий, но не может выдержать ни зимы, ни даже осени.

Уже 21-го сентября, на известном нам заседании петербургского совета (когда принималась резолюция о «начале восстания») выступил один офицер, прибывший с фронта и сказал:

— Солдаты в окопах сейчас не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят сейчас одного — конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут...

Это произвело сенсацию даже в большевистском совете. Послышались возгласы: «Этого не говорят

и большевики!»... Но офицер, не большевик, продолжал твердо, с сознанием выполняемого долга.

— Мы не знаем, и нам не интересно, что говорят большевики. Я передаю то, что я знаю и о чем передать вам меня просили солдаты.

Среди «правителей» Верховский был не только ответственным, но и добросовестным человеком. И он, с конца сентября забил тревогу, не только в качестве военного министра, но и в качестве патриота. Он тоже видел, что армия не выдержит и воевать больше не может. И он поднял голос не только об ее усилении, об ее избавлении от голода, но и о прекращении войны... Однако мы знаем, что министр Верховский совмещал свою гражданскую добросовестность с некоторой долей политической наивности. С его бесплодными стараниями мы еще встретимся дальше.

А пока на фронте снова грянул гром. 29-го сентября немцы, под прикрытием своего флота высадили десант в Рижском заливе, на острове Эзеле. Это было прямым последствием падения Риги. Предотвратить это мы при данных условиях никак не могли. Но это никак не могло ослабить впечатления от нового удара. Через несколько дней весь Рижский залив был в руках немцев. Неприятель получал ныне огромные преимущества в коммуникации. И даже открывалась возможность воздушных налетов на Петербург.

Однако, пока что дело на этом остановилось. Очевидно, немцы не рассчитывали на то сопротивление, какое встретили — со стороны нашего буйного и многооклеветанного красного флота. Соотношение сил было для нас убийственно; но флот проявил не только стойкость: он проявил под-

линный и всеми признанный **исключительный героизм**. На долю министра Вердеревского выпало счастье официально его засвидетельствовать. Были зарегистрированы победоносные стычки с превосходными силами. Один миноносец, получив 19 пробоин, продолжал сражаться. Другой, под огнем, дважды пытался взять его на буксир и спас команду. Вызывала удивление защита шестью матросами с одним пулеметом моонской дамбы. Броненосец «Слава», смертельно подбитый, был затоплен в назначенном месте, и вся команда его, под огнем спасена... Кронштадтцы требовали выхода в море.

Флот был жив. Но это не меняло общей картины, и оставляло в силе все выводы... Флот был жив, но бессилен предотвратить катастрофу. Армия также не состояла из трусов и негодяев, как уверяли биржевые акулы и их клевреты из Зимнего дворца. Новый командующий северным фронтом, ген. Черемисов, горячо протестовал в печати против «гнусного поклепа» на солдат, будто бы «имеющих намерение» бросить окопы и двинуться по домам; он призывал дать дружный отпор клеветникам, бросающим грязью в армию, которая самоотверженно защищает свободу и честь России, безропотно неся тяжелые лишения в сырых и холодных окопах»... Но тут же ген. Черемисов подчеркивает эти «безмерные» лишения — голод, холод, отсутствие обуви, платья, белья. Если так, то не при чем «**намерения**» солдатской массы. Она не состоит из трусов и негодяев, но она **будет сломлена** нечеловеческими тяготами. Она не выдержит не только зимы, но и осени.

* * *

Положение было ясно. Делегаты с фронта — всех направлений — прибывали в Петербург все чаще и говорили все одно и то же. Отвлек свои тусклые взоры от Зимнего даже полумертвый Ц. И. К. С 30-го сентября до 5-го октября он посвятил ряд заседаний положению в действующей армии. Заседания были закрытые. Президиум со всем тщанием заботился о том, чтобы страна не знала истины, а обыватель, науськиваемый печатью, попрежнему вопил бы о войне до конца. Чхеидзе неустанно подчеркивал секретность информации и наших суждений. Но все же на эти заседания, в эти холодные и мокрые осенние дни, набиралось человек по 150 всякого рода «своих людей»: обычные заседания никогда не собирали теперь больше 2—3 десятков.

Докладывали о положении на фронте эмиссары самого Ц. И. К.; докладывал компетентный и авторитетный Станкевич, новый правительственный комиссар при Ставке; докладывали министры Верховский и Вердеревский, снова посетившие Смольный. Дополняли разные свидетели, депутаты и должностные лица. В общем информация была такова, что выводы были бесспорны: нам не продержаться, если в ближайшем будущем не наступит какая либо радикальная перемена — в об'ективном положении и в психике армии.

Обывательское старое советское большинство было совершенно подавлено открывшейся перед ним картиной. Неожиданного в ней собственно ничего не было. Я лично, приемля на себя эпитет «изменника», говорил Вр. Правительству об этом моменте еще в «историческую ночь» на 21-го апреля; и тогда же делал из этого политические выводы — о том, что нужно кончать войну. Но ведь советское большинство не хотело видеть, как с тех пор целых

полгода затягивалась петля на шее армии — поскольку разваливалась страна и падала революция. Советское большинство задумалось только теперь, когда беда надвинулась вплотную. Теперь, когда не большевики и новожизненцы, а официальное начальство, люди из Зимнего, сам военный министр, в закрытом заседании, утверждал, что к концу ноября армия побежит домой и затопит своим потоком города, деревни, дороги, — только теперь советские межеумки поняли, что дальше так нельзя.

Ну, а как же надо? Что же делать?... Что же делать-то?.. Новое воззвание было выпущено уже дня три тому назад, сейчас же после десанта. Но ведь не грудные же младенцы были эти люди. Ведь воззвания годились тогда, когда еще можно было играть в игрушки и иметь от этого утешение. Сейчас воззвания не могли утешить, ибо было не до игрушек... Но что же делать-то?

Надо принять все меры к укреплению армии, к снабжению сапогами и одеждой, к подвозу провианта и т. д. Но разве мы тут можем помочь? Ведь это дело неограниченного правительства. Мы будем всячески содействовать и даже возьмем на себя смелость торопить. Но...

И вот вялая, слабая, сонная, трусливая мысль советских лидеров вновь толкнулась на старую, давно забытую и одиозную стезю: вспомнили, что если никак нельзя продолжать войну, то может быть возможно принять какие-нибудь меры к ее прекращению. Сами бы об этом не вспомнили, но Верховский подсказал. Так или иначе, в этих закрытых заседаниях 2—5-го октября в стенах Смольного вновь заговорили о мире.

* * *

Дело европейского мира находилось в прежнем положении. Стокгольмская конференция была провалена; наша советская делегация вернулась из Европы ни с чем; правители воюющих держав уперлись друг в друга лбами и стояли, как вкопанные, на прежних благородных позициях; во Франции, на социалистическом конгрессе обнаружился в эти дни рецидив отвратительного шовинизма, и было восстановлено старое union sacrée... Все это, в большей или меньшей степени, было результатом измены Смольного.

И в этой смрадной атмосфере, как рыба в воде, купалась наша последняя коалиция. В дни «соглашения» делегаты «демократии» пролепетали привычные слова о всеобщем демократическом мире; но они присовокупили нечто оригинальное — насчет участия в мифической «парижской конференции» представителя советской демократии. Терещенко оказался если не умнее, то опытнее Коновалова и Третьякова. Не в пример им, он не стал спорить и ограничился маленькой поправкой. Он отлично знал, что от слова не станется. Ведь битых полгода он ведет «соглашения» с Церетели — по случаю все новых кризисов и программ. Ведь тот факт, что в мае он подмахнул страшное «без аннексий и контрибуций», не помешало же Терещенко в июле заявить, что о мире никто не думает, а в сентябре вернуться официально к войне до победного конца.

Сейчас, через несколько дней после создания сильной и независимой власти, Терещенко поспешил взять реванш за маленькую капитуляцию, допущенную им в дни после-корниловского смятения. В правах парижского посла революционной России был восстановлен злостный корниловец Маклаков.

А затем началась дипломатическая работа над этой самой парижской конференцией союзников.

Эта конференция, если помнит читатель, была обещана еще в апреле, затем была отложена на август, затем на октябрь. Теперь, 4-го октября, было получено известие, что конференция снова откладывается — пока что на ноябрь... Почему собственно не желали ее созвать англо-французские хозяева, — не совсем ясно. Ведь ее цели, официально формулированные, были совершенно невинны. Согласно нашей собственной, демократической, самой благожелательной формуле — конференция должна была собраться «для пересмотра союзных договоров». Это можно было сделать без малейшего ущербления военных программ союзников. Наоборот, наша военная слабость давала все поводы отказаться от всяких обязательств по отношению к России при дележе завоеваний. Пересмотр договоров не был одиозен и мог быть выгоден для наших союзников. А к делу мира конференция могла не иметь ни малейшего отношения... Но все же ее не собирали. Предпочитали обещать, но не собирать.

Однако, назначенный срок был не за горами, и в Зимнем, и в Ставке, где пребывал Керенский, вплотную занялись конференцией. В газетах глухо сообщалось, что были суждения о сроке, о программе конференции, о том, с чем выступить на ней от имени России. Но дипломатия была тайной. Что именно судили и решили, — об этом было неизвестно стране. Судя по комбинации газетных заметок, больше всего интересовало и беспокоило «правителей», что делать с представителем демократии, которого навязывали им. Эта линия суждений

была более привычной и более доступной нашим бутафорским диктаторам: это была торная дорога защиты своей независимости от демократии. И произнесли суд правый, скорый и милостивый. Министр иностранных дел раз'яснил, что двоякое представительство от Вр. Правительства и от демократии безусловно недопустимо; совершенно недопустимо, чтобы правительство выступало на конференции с одними заявлениями, а демократия с другими. Вр. Правительство выразило полную солидарность с министром иностранных дел...

Но ведь участие демократии только что было опубликовано в декларации! На этот счет только что состоялось «соглашение»! Это, конечно, все знают и помнят. Но тут то и проявился опыт Терещенки. Он легко «соглашался», именно для того, чтобы нарушать и издеваться; а Церетели для того и подписывал «соглашения», чтобы соглашаться получать пощечины. Так было и так будет, пока будут Терещенко и Церетели. Весь вопрос только в том, будут ли?

Ну, а кто же поедет представлять «русскую точку зрения», защищать честь и принципы революционной России?.. Вот это не скрывалось и газеты широко разнесли радостную весть. Россию представлять будут двое: он сам, наш Талейран, и наш общий друг, заговорщик Маклаков. Но сообщали еще и о третьем представителе, если не официальном, то официозном: на конференцию еще едет генерал Алексеев... Ну, дальше уж идти некуда.

* * *

Вернемся в Смольный, к Ц. И. К., где в лексикон «соглашателей» было снова введено слово «мир»... Поздно! Теперь это слово вернулось с подлым, но неизбежным эпитетом. Один фронтовик, обращавшийся в полном отчаянии к «полномочному совету», сказал, что окопам нужен мир во что бы то ни стало, какой угодно, хоть бы «какой-нибудь похабный», но все же — мир, а не теперешнее невыносимое положение. Фронтовик хорошо оценивал свои слова. В подлом эпитете он сам выразил всю силу собственного солдатского презрения к такому миру. Но этим и подчеркнул и доказал он, что другого выхода нет.

Свора «патриотов» и на Невском, и в редакциях, и в Смольном — с яростью набросилась на требование «похабного мира», выражая свое презрение... кому? Но выхода никто не указывал. И дряблая, трусливая мысль бывших людей Смольного была так или иначе втянута в орбиту понятий о прекращении войны.

Что же могли придумать и сделать эти люди? Конечно, они остались верны себе. Ни на что реальное, достойное революционера, они были неспособны. Довольно было того, что они изменили себе и своим традициям, вспомнив о мире наряду с обороной. Вспомнив о мире, они конечно пошли по линии наименьшего сопротивления. Они просто-напросто схватились за эту злосчастную парижскую конференцию, уверяя себя и других, что это верный, скорый и единственный путь к миру. Убедившись в необходимости мира, во избежание всеобщего краха, сделаем то, что доступно нашей совести, разуму и воле! Закроем глаза на то, что конференция созывается совсем не

для изыскания способов прекращения войны, а для наилучшего ее продолжения; сделаем вид, что — независимо от программы конференции — мы можем сделать на ней нечто большее, чем санкционировать сговор империалистов против народов; и направим внимание «всей демократии» на эту мифическую конференцию, отвлекая ее от действительной борьбы за мир.

В закрытых заседаниях Ц. И. К. 2—5 октября разговоры о положении на фронте перешли непосредственно в суждение о мире; а эти суждения вылились немедленно в планы «использования парижской конференции». Прения были долгие, упорные и нервные. Большевики протестовали против какого бы то ни было участия в этом сговоре империалистов. Мартов был не против участия, но резко полемизировал с оборонцами, выдающими конференцию за путь к миру. Дан воспевал «дальнейший шаг вперед». Церетели, кажется, не было. А эсеры, не имея ничего за душой, в отсутствие Чернова, возложили на Дана свои патриотические надежды.

Приближаясь к концу нашей печальной повести о славном господстве меньшевистско-эсеровского блока, не лишним будет вспомнить «линию» его гибельной внешней политики. В марте, отвергая всенародное давление на буржуазную власть, советское большинство путем «соглашения» получило лживую бумажку (27 марта) об отказе от аннексий. В апреле оно, тем же путем, добивалось «дальнейших шагов» — предложения насчет пересмотра договоров и т. п. В мае, ничего больше не добившись, оно об'явило, что мы уже много сделали для мира и должны теперь призвать к борьбе других. В июне,

потеряв надежды на дальнейшие шаги и прячась от борьбы, оно заявило, что для мира мы уже сделали все возможное; что дипломатических мер борьбы за мир вообще больше не существует; и теперь мы должны ждать движения пролетарской Европы; сами же должны наступать на врага. В июле, августе и сентябре мы молчали и ждали, преподавая Европе в воззваниях хорошие мысли о борьбе и требуя от нее нашего спасения. В октябре, после того, как воевать мы кончили, а сами стали бывшими людьми, мы снова вспомнили некоторые слова о мире и обратились именно к той дипломатии, которую некогда признали исчерпанной; мы сказали: нас спасет конференция Ллойд-Джорджа, Рибо, Терещенки и Маклакова, если на нее поедет кто-нибудь из нашей среды.

Прения в закрытых заседаниях Ц. И. К. были бурны и полны озлобления. Я помню исключительно резкое столкновение между Мартовым и Даном. На меня поднялся возмущенный крик, когда я предложил Терещенко кандидатом в создаваемую комиссию. Они были — видите ли, шокированы и оскорблены этим!.. Но единодушия среди старого большинства далеко не было. Был разброд и развал — под угнетающим впечатлением рассказов с фронта. Внесено было пять резолюций, из которых ни одна не собрала большинства. За большевиков — 19, за Мартова — 10, за Богданова — 9, за с. р. — 31, за Дана — 27. Резолюции Дана и эсеров сдали в комиссию для согласования к следующему дню. 5-го октября был окончательно принят документ, представляющий собой заключительный акт борьбы за мир старого Совета, в условиях уже разразившейся катастрофы... Не правда ли, в интересах

«беспристрастия» надо процитировать этот документ?

«Обсудив современное международное положение России и принимая во внимание ту жажду мира, которая пробуждена во всех народах Европы неслыханными бедствиями трехлетней мировой войны, Ц. И. К. находит необходимым, чтобы междусоюзническая конференция состоялась в самое ближайшее время, и чтобы русская делегация добивалась на ней устранения всех разногласий в вопросе о целях войны, которые могут до сих пор существовать между Россией и ее союзниками и выработки общей линии внешней и военной политики.

В соответствии с этим, делегация должна добиваться на конференции пересмотра союзных договоров в духе провозглашенных русской революцией принципов, опубликования этих договоров и составления от имени всех союзных держав декларации с выражением готовности немедленно приступить к мирным переговорам на основе этих принципов, лишь только страны враждебной коалиции заявят свое согласие на отказ от всяких насильственных захватов.

Ц. И. К. рассчитывает, что пролетариат всех воюющих и нейтральных стран, являющийся главной опорой движения к миру, энергично поддержит эти шаги русской делегации, которая должна также настаивать перед союзными правительствами на уничтожении всех препятствий, мешающих созыву стокгольмской конференции и, в частности, на выдаче паспортов делегатам всех социалистических партий и фракций, желающих принять участие в конференции.

В то же время Ц. И. К. считает обязанностью всех демократических организаций напрячь все усилия для поднятия организованности и боеспособности армии, снабжения ее всем необходимым, доставления ей пополнений, обученных и способных к боевой службе, и укрепления моральной связи с демократией.

Только таким путем будут созданы условия, обеспечивающие интересы революционной России при заключении мира».

Напечатание этого документа в «Известиях», крупным шрифтом, на первой странице (7-го октября)

сопровождалось торжественной передовицей, которая начиналась так:

«Напечатанная ниже резолюция Ц. И. К. является важным решением, принятым в ответственный момент. Постановив опубликовать это решение, Ц. И. К. тем самым отдает на суд своего и всех других народов свою внешнюю политику»... Да, лучше не скажешь. Судите же народы! Без суда не бросайте грязью. Но после праведного суда — бросайте без сожаления. По заслугам! Куда же, как не к позорной гибели могли вести революцию люди, принимавшие это героическое решение в ответственный момент?

Передовица продолжает: «большего для дела мира в настоящий момент сделать невозможно». И кончает: «принятые решения говорят ясно, — мы не хотим войны с корыстными целями, но мы будем бороться всеми силами против покушения германского правительства на нашу землю и нашу свободу»... Я спрашиваю в результате всего этого, по всей совокупности обстоятельств: что же называется предательством, если это есть достойный образ действий ответственных представителей революционной демократии?..

Впрочем, необходимо тут кстати отметить, что с 1-го октября Дан, не помню, почему, отряхнул от ног своих прах советских «Известий». Редакция перешла в руки знакомого нам Розанова, специалиста по иностранным делам, некогда чуть-чуть интернационалиста, даже немного писавшего в «Новой Жизни», теперь же все больше кренившего в сторону махрового шовинизма и реакции.

Кроме принятия важной резолюции, «ответственный момент» еще требовал избрания представителя

демократии для поездки в Париж, а также снабжения его **наказом**. Кого же послать?.. Над этим трудились не мало, а когда решили в частно-партийном порядке, то долго не решались оформить, чтобы дать привыкнуть к имени избранника. Правда, это имя было достаточно известно. Но известность имени тут не избавляла от смеха сквозь слезы. Представителем всероссийской демократии в Европе был выдвинут бывший министр труда, но универсальный государственный ум — Скобелев.

Сначала речь шла о **двух** представителях. Эсеры, от крестьянского Ц. И. К., предполагали еще послать Чернова. Но тут Зимний так нахмурил брови, что второй кандидат был поскорее снят. Остался один меньшевистский Скобелев, который несколько дней, вызывая сенсацию в прессе, фигурировал в качестве «предполагаемого делегата демократии». А в конце бурного закрытого заседания пятого октября был, наконец, формально избран.

Однако, дело в том, что большевики от выборов уклонились, а без большевиков Скобелев получил большинство в 2 или 3 голоса. То-есть представитель «всей демократии» был апробирован **не особенно большим меньшинством старого, полумертвого, никого не представляющего, ни для кого не авторитетного, незаконно существующего на свете** Ц. И. К. Если бы большевики **голосовали**, они могли бы совсем сорвать выборы и все предприятие. Но во всяком случае даже и тут, в Ц. И. К., все те, кто имел право говорить от имени российской демократии, высказались **против** посылки Скобелева. И в качестве кандидата, и в качестве избранника он оставался продуктом ке-

лейно-закулисной сделки, глубоко одиозной для демократии.

Но самого Скобелева это, видимо, не смутило. Еще до выборов, или (по его собственному выражению) пока «назначение его еще не прошло через некоторые формальности», — он уже давал интервью, посещал министров и вообще развил широкую дипломатическую деятельность[1]...

* * *

Но избрать достойного и авторитетного представителя это еще только половина дела. Надо было кроме того выработать ему н а к а з — «точку зрения российской революционной демократии». Сутки или двое работала комиссия, избранная Ц. И. К. В нее отказались войти и большевики, и меньшевики-интернационалисты. Тем больше было простора для настоящей, большой, скобелевской дипломатии... Наказ был выработан, утвержден и напечатан в «Известиях», в том же номере от 7-го октября, под цитированной резолюцией о войне и мире.

---

[1]) Впрочем, об этом дипломате я лучше скажу чужими, более интересными словами. Я уже несколько дней, в редакции «Новой Жизни», требовал от самого талантливого нашего сотрудника, Раф. Григорьева, всегда способного в случае нужды обслужить любую тему, — чтобы он посвятил новому дипломатическому светилу несколько теплых строк. Григорьев несколько дней отнекивался. А потом нехотя сел за стол и написал:

«Он положительно великолепен, этот государственный мужчина ... Почитать его «заявления» о парижской конференции — величайшее эстетическое наслаждение. Что может быть величественнее, чем Скобелев, авторитетным и властным тоном «за-

Наказ заключал в себе «точку зрения» демократии по длинному ряду конкретных вопросов — о территориях России, Польши, Литвы, Латвии, Армении, Эльзас-Лотарингии, Бельгии, Балканских государств, Италии и т. д., о колониях, о свободе морей, о контрибуциях и возмещении убытков, о торговых договорах, о гарантиях мира, о тайной дипломатии, о разоружении и системе милиции, о стокгольмской конференции и о путях к миру. По всем этим пунктам наказ был действительно выдержан в духе демократической внешней политики.

Но дело в том, что этот документ носил вполне академический характер. Не только потому, что все заявления по наказу оставались бы на конференции гласом вопиющего в пустыне. Не только потому, что наказ обходил мимо, а его авторы не хотели понять самый центр, смысл, существо европейской военно-политической кон'юнктуры. Не только потому, что было нелепо, методологически неправильно подходить к шайке международных бандитов

являющий»: «все муссируемые в обществе слухи о каких-то переговорах между союзниками и центральными империями, в основе которых лежит мысль о заключении мира за счет России, абсолютно не верны и тенденциозны. Я могу это категорически опровергнуть»... Нахмурив мудрое чело вчерашний циммервальдец распекает русскую демократию за то, что она «не сочла нужным конкретизировать условия мира: широкое содержание формулы не всегда дает возможность решить вопросы, выдвинутые войной», — захлебываясь от восторга перед собственной государственностью продолжает Скобелев и с упованием взирает на западных экзаменаторов... Англичанам очень нравятся картинки, на которых изображены веселые шалунишки в папиных фраках и цилиндрах. Узрев перед собой в Париже эдакого очаровательного русского бэби, Ллойд-Джордж ущипнет его за пухлую щеку и скажет: олл райт...»

со всеми этими демократическими принципами и стремиться осуществить их путем убеждения и соглашения. Наказ был академическим, главным образом потому, что все его директивы били мимо основной цели, не затрагивали той основной задачи, которую нужно было авторам решить на конференции. Разве дело было в конкретных условиях мира и в формах его заключения? Дело было в том, чтобы добиться самого факта, чтобы заставить выступлениями на конференции союзных правителей предпринять немедленные практические действия, направленные к прекращению войны. В наказе это не было совсем обойдено. Но что было сказано?

«Как бы конкретно ни были формулированы цели войны, в договоре (?) должно быть указано и опубликовано, что союзники готовы начать мирные переговоры, как только противная сторона из'явит свое согласие на мирные переговоры при условии отказа всех сторон от всяких насильственных захватов». — Ну, что это такое, как не постыдное издевательство советских дипломатов над здравым смыслом и над самими собой? Вместо категорического требования немедленных мирных переговоров (которое единственно имело бы смысл), речь идет о каком-то «договоре», который должен быть заключен на конференции. Что в нем должно быть? То, что тысячи раз уже заявлялось во всевозможных формах — и правителями, и парламентами, и прессой, и главами государств. «Мы готовы, лишь только они откажутся»... Но ведь центральные державы, кстати сказать, уже не раз заявляли (конечно ложно!), что они отказываются от захватов и насилий. Ведь теперь, через семь месяцев революции,

всем малым детям было очевидно, что все эти обоюдные (лживые) заявления ровно никуда дела не двигают и сдвинуть его не могут. Вероятно, авторы наказа все это знали. Но что же им было делать? Если не говорить пустопорожний вздор, то это значит — бороться. Бороться с Коноваловым, Терещенкой и Керенским. Бороться, а не «соглашаться» с ними. Этого они не могли, этого их природа не переносила. И наказ был утвержден.

Но пока ведь все еще это было внутри Смольного. А что же скажет Зимний? Как отнесется «общественное мнение»?.. Разумеется, все это предприятие — и самую посылку делегата, и наказ ему — приняли артиллерийским ураганом. И, разумеется, в некоторой части и пресса, и правители были правы. «Двоякое представительство» на конференции, действительно, было нелепостью, измышленной Церетели в страстном, но утопическом желании угодить и тем, и этим. Либо Терещенко и Скобелев должны были говорить одно и то же, либо они должны были вступить в конфликт. И то, и другое — практическая бессмыслица. Но и юридически тут было не больше смысла. Международное представительство «частной» организации на конференции государств было бы только темой для сатирических журналов Европы.

Выход для авторов всей этой затеи был, конечно, только один: посадить Скобелева на место Терещенки, а весь Смольный — на место Зимнего. Тогда «голос демократии» (скверный голос!) был бы в надлежащем порядке доведен до ушей Европы. Но, как известно, такой выход был бы гибелью, самоубийством, крахом, позором и еще разными несказанными ужасами. И во избежание их — вышла

смехотворная глупость. Тут правители и их газеты были совсем не далеки от истины.

Однако, не меньше громили и самый наказ. «Представления» из Зимнего были настолько внушительны, а заграничная пресса подняла такой гвалт, что наказ скоро пришлось выдать за «не окончательный». Тут помог крестьянский Ц. И. К. Он, не имея своего представителя, видите ли, пожелал внести поправки... Но все это дело еще будет иметь свое продолжение. Скоро мы вновь, на арене предпарламента, столкнемся лицом к лицу с кадетско-корниловской «властью» и с ее друзьями. Тогда нам придется мимолетно вернуться к этим дипломатическим делам.

Так жили мы в многообильном русском государстве, так делали мы политику, так спасали революцию в «ответственный момент».

* * *

Что еще сказать о нашей жизни, за первый, до-«парламентский» период «правления» последней коалиции?.. Нельзя, пожалуй, миновать вот чего, — дабы доблесть лучших людей, стоявших у власти, предстала во всей красе. Как только грянул немецкий десант, как только был занят Рижский залив и заговорили о цеппелинах, Вр. Правительство сочло уместным вновь вернуться к своему излюбленному плану: улепетнуть из Петербурга. Опасность со стороны немцев была еще не близка. Но во всяком случае тут было одно из двух: либо паника, либо некрасивая политическая игра. То, и другое было одинаково похвально. Но гораздо вероятнее

было второе. Ведь цеппелины издавна летали в Париж и Лондон, а союзные правительства там работали.

И вот ради большевистской опасности, из жажды покинуть раскаленную почву Петербурга, правительство об'явило столицу в опасности и решило ее эвакуировать. Но вывезти промышленность, необходимую для обороны, было невозможно. И на этот случай «в правительственных кругах указывали, что угроза Петрограду вопроса о войне не решает». («Речь» 6 окт.) Это была заведомая неправда. Без Петербурга воевать было нельзя. Это немедленно было доказано цифрами. Но мы видим: перед страхом большевизма померкли даже интересы войны, которую правители отказывались кончить ради достоинства и спасения родины.

В левой печати поднялись протесты, увещания, издевательства. В рабочих районах эта готовность правящих патриотов бросить столицу немцам и бежать самим — вызвала величайшее негодование.

Солдатская секция, 6-го октября, приняла резолюцию: ... «секция категорически протестует против плана переселения правительства из Петербурга в Москву, т. к. такое переселение означало бы предоставление революционной столицы на произвол судьбы. Если Вр. Правительство не способно защитить Петроград, то оно обязано заключить мир, либо уступить место другому правительству. Переезд в Москву означал бы дезертирство с ответственного боевого поста».

Все это была святая правда...

Правящие кадетско-корниловские «живые силы» были живой провокацией народного гнева и неизбеж-

ным источником гражданской войны. Но они были и бессильны в любом государственном деле. Они не могли ни вести войну, ни заключить мир. Ни дать хлеба без «государственного вмешательства», ни дать его силами государства. Ни поднять промышленность «частной инициативой», ни избавить ее от разрухи при помощи государственной организации. Ни допустить анархию, ни искоренить ее. Ни разрешить дело с землею, ни обойтись без его разрешения... Коалиция Керенского и Коновалова ни в одной из насущнейших нужд страны не могла сделать ни шагу. Она не умела ничего. Провокация гражданской войны была единственной функцией, доступной этому жалкому плоду растерянности Смольного и авантюризма Зимнего.

И, в довершение всего этого, бутафорское правительство являлось стране в образе злостных узурпаторов власти, никем не признанных, бестактных, лицемерных, тупых, трусливых — с единственной заботой об охране своей самодержавной власти...

Так существовать было нельзя. Эту «власть» надо было вырвать с корнем. Я ежедневно, сотней тысяч голосов, твердил об этом в своей газете. И был прав.

Но как же покончить с таким положением?.. «Я не знаю — говорил на этих днях Мартов в «демократическом совете», — других способов творения власти, кроме двух: или жест гражданина, бросающего бюллетень в избирательную урну, или жест гражданина, заряжающего ружье»... Последняя коалиция была создана как раз третьим способом. Но сейчас перед нами стояли два первых. Какой-нибудь из них решит дело в ближайшем будущем.

Открывался предпарламент — бесправный, немощный, чуждый и противный всякой революционности. Но рядом с опереточным правительством он был фактической силой. Он мог решить судьбу «правящей» коалиции первым способом, парламентским путем. С какими результатами — другой вопрос. Но самая возможность не подлежит сомнению.

А если нет? Тогда капитуляция Смольного и провокация Зимнего сделают свое дело. Ведь подлинная демократия России уже зарядила ружье.

---

6. ПРЕДПАРЛАМЕНТ

Мариинский дворец. — Состав предпарламента. — «Лучшие люди» демократии и цензовиков. — Печальное открытие. — «Пистолетный выстрел» большевиков. — Маленькая философия большевистского исхода из предпарламента. — То, чего не было. — После исхода большевиков. — «Органическая работа». — В нашей фракции. — Мартов размышляет. — Прения об обороне. — Либер громит не большевиков. — Дело об эвакуации. — Наказ Скобелеву в предпарламенте. — Союзные господа и отечественные холопы. — Где же «союзный» флот? — Мятеж русских войск во Франции. — Наши холопы стараются. — Республика на Кубани. — Ее аннексии и контрибуции. — Казаки у Керенского и у Бьюкенена. — Министр Маслов. — Группировки в предпарламенте. — Правая и левая оппозиция. — «Правительственный центр». — В поисках правительственного большинства. — Роковое голосование. — Большинства нет! — «Крах предпарламента». — «Большой день». — Выступление Терещенки. — Положение обостряется. — В комиссии по обороне. — Большевик-Верховский. — Прения по иностранной политике. — Профессор Милюков. — Интеллигент Петр Струве. — Демонстрация о Корнилове. — Советские ораторы. — Коалиция разваливается. — Верховский принесен в жертву. — Образование левого блока. — Междуфракционное совещание. — Оно не успело кончить...

Пожалованное ему официальное название гласило: «Временный Совет Росс. Республики». Открытие было назначено на 7-е октября... Искали помещения. Хотелось найти такое, чтобы

было как раз по чину. Не слишком примитивное и захолустное, ибо там должно было часто пребывать само правительство и самые почтенные (не рабоче-солдатские) общественные элементы. Но и не слишком торжественное и официальное, ибо это не Гос. Дума и не какой-нибудь правомочный орган. «У нас, слава Богу, нет парламента»... «Речь» находила, что очень подходящее помещение Смольный Институт. И, в сущности, совершенно свободное: там только Ц. И. К. и петербургский совет, которым и на свет родиться не следовало. Но разве очистишь Смольный от большевиков?.. Многоточия означали: был бы Корнилов!..

Но подходящего помещения не находилось. Пришлось остановиться на Мариинском дворце, резиденции самого Гос. Совета. Это было явно не по чину... Спешно приспособили роскошную уютную залу. Убрали глубокие кресла, располагающие ко сну, и заменили их более убористыми стульями (ибо кресел не хватало для членов предпарламента), завесили царские эмблемы, затянули холстом знаменитую картину Репина, висевшую над президентской эстрадой. Назначили солидную чиновную комендатуру, перевели из Думы опытную и дисциплинированную приставскую часть. А в общем извне вышел парламент хоть куда! Хоть в Европу... если бы только не это отечественное демократическое большинство. Смирно то оно смирно. А большевиков и мартовцев будем вместе улюлюкать и «изолировать» перед лицом всего русского общества. Но все-таки сомнительно...

«Демократическое» большинство состояло, как нам известно, из 308 человек. Из них было 66 большевиков, человек 60 официальных меньшевиков, 120

эсеров, из которых человек 20 были левые. Затем к «демократии» относились также кооператоры, в группу которых входили правейшие меньшевики и эсеры; и еще кроме «трудовиков» выделилась некая группа «эсеров-государственников». Это были, очевидно, единомышленники Савинкова, все еще состоявшего в партии, но вскоре тут исключенного...

Наша фракция, меньшевиков-интернационалистов, насчитывала около 30 человек, — такого количества членов наша фракция никогда не имела. Такой «массой» мы могли во всяком случае производить достаточный шум или, по европейскому образцу, устроить словесную абструкцию...

Цензовики сначала потребовали 120 мест, но потом увеличили до 150. Потом, кажется, торговались еще; но этим довольно мало у нас интересовались. Цензовики, по примеру демократии, тоже нагромоздили самых невероятных общественных классов, слоев и групп, в самых невероятных комбинациях. К цензовикам относились и «казаки»... Кадетов было человек 75. Большинство остальных, командированных всевозможными организациями промышленников и землевладельцев, было правее: старые октябристы и националисты. Почему то они до сих пор упорствовали формально влить свои ручьи в кадетское море. Но фактически они признавали кадетскую гегемонию и имели все ту же программу: железную диктатуру плутократии.

Но были среди цензовиков и «интеллигенты» — напр., «академическая» делегация, профессора. Иные делились так: общество журналистов было представлено среди демократии, а общество редакторов — получило место среди цензовиков.

Это общество редакторов ежедневных газет избрало одним из двух своих представителей в «Совете Республики» знаменитого Леонида Андреева. В мягкороскошных залах Мариинского дворца мы встретились с ним после трехлетнего перерыва сношений. Наше знакомство с ним началось еще в 1905 году, в стенах московской «Таганки», куда его привезли вместе с полным составом об'единенного социал-демократического Ц. К., заседавшего в его квартире. Я был страстным почитателем этого замечательного художника и провел не мало прекрасных часов в обществе этого редкого, блестящего собеседника — между прочим, на его знаменитой даче, в Райволе... Но любимый писатель нанес мне удар прямо в сердце, спустившись до самого пошлого и мелкого шовинизма после об'явления войны. Господь с ней, с его скверной и невежественной, но ужасно кричащей публицистикой! Гораздо хуже: он написал пьесу, где бульварный шовинизм погубил и стер в порошок художника. С тех пор я гнал от себя с отчаянием всякое воспоминание об этом замечательном и дорогом человеке. При мимолетной встрече с ним в военные годы (у Горького) мы только косились друг на друга. А в предпарламенте всякий раз здоровались и спешили разойтись в разные стороны.

Этот предпарламент был формально бесправным, смешно состряпанным, недостойным революции, жалость вызывающим учреждением. Но этот плод любви несчастной между Церетели и Набоковым имел интересное свойство, не в пример многим и, пожалуй, большинству настоящих парламентов. Состав его был исключительно блестящ. Он сосредоточивал в себе, поистине, цвет нации. Этим он обязан был

именно невиданному способу его составления. Все политические партии и общественные группы посылали в предпарламент своих **лучших людей**, не подвергая их риску уступить на выборах место популярному, но незначительному герою местного провинциального муравейника... Людей без всероссийского имени здесь было, поэтому, довольно мало. А все «**имена**» были налицо. В предпарламенте были представлены in corpore все партийные центральные комитеты; исключения были случайны и несущественны. Уже одно это знаменовало собою концентрацию всей политической **силы**, квинт-эссенцию всей политической **мысли** страны...

Кадетская фракция, кажется, собрала весь цвет парламентариев всех четырех Гос. Дум. Биржевики с Ильинки и синдикатчики с Литейного послали свои лучшие силы. Цензовая Россия дала все, чем была богата. Но демократическая часть не только не уступала, а явно превосходила своих противников интеллектуальным и культурно-политическим багажом. Багаж этот был накоплен десятилетиями борьбы, ссылки, тюрьмы и эмиграции. Школа, пройденная нашими социалистическими лидерами, была так велика, и движение наше было так богато крупными вождями, что наше идейное влияние стало (и остается до сих пор) исключительным среди старого социализма Европы. И все эти вожди ныне готовились собраться в предпарламенте.

Не было налицо единиц. Не было старого, больного, не принятого событиями и не приявшего событий Плеханова; он не участвовал в революции вообще. И не было Ленина: приказы об его аресте еженедельно возобновляла наша сильная и решительная власть; он попрежнему скрывался «в подзе-

мельях», но — не в пример Плеханову, участвовал, сильно участвовал в текущих событиях. Ленина, однако, с успехом возмещал Троцкий. Теперь уже прошло время, когда в большевистской партии, как в первом Интернационале, после самого громовержца — долго, долго, долго не было ничего. Теперь был тут же рядом Троцкий. Это был совсем другой и, вообще говоря, заменить совершенно не способный. Но — я склонен думать — не меньший, которого заменить не мог Ленин и без которого не могли обойтись дальнейшие события.

И еще одного не было, — не было Церетели. Он уехал на Кавказ, отдохнуть — «на три недели». Ему не пришлось вернуться, — политически, а не физически. Его роль была сыграна, кончена. Напортил, напачкал, нагубил сколько было под силу одному крупному человеку. И уехал... И довольно. Не стану больше говорить о нем, — все сказано.

* * *

3-го октября было опубликовано «Положение о Временном Совете Республики». Нового для нас в нем ничего не заключалось. Но некоторые нюансы, пожалуй, не были лишены прелести. Члены «Совета» «приглашаются» правительством — «по представлению общественных организаций». Заключения «Совета», конечно, не обязательны. Проекты вносятся или не вносятся по благоусмотрению министров. Инициатива Совета осуществляется при условии письменного заявления 30 членов, так же, как и вопросы. На эти вопросы правительство, вообще говоря, отвечает в недельный срок. Но может не

ответить и вовсе — по соображениям государственной безопасности...

Положили нам и приличное для советников жалованье: по 15 рублей в сутки и по 100 рублей единовременно. А также освободили от воинской повинности и дали иммунитет от арестов и от предания суду.

Демократическая часть предпарламента уже давно сконструировалась: избрала бюро фракций, президиум, совет старейшин. Теперь приходилось несколько перестроиться и потесниться. Соглашение с цензовиками также было достигнуто заранее. Председателем наметили «демократа», наиболее любезного цензовикам, высокоталантливого Авксентьева. Составили и «сеньорен-конвент», который Набоков, вице-президент предпарламента, благоволил окрестить «синедрионом», ибо большинство в нем составляли евреи. Секретарем был также еврей, ученый государственник, правый эсер Вишняк, мой старый знакомый, будущий секретарь Учр. Собрания.

* * *

В пять часов дня 7-го октября, в дождь и слякоть Керенский открыл предпарламент. Это вам не демократическое совещание! На этот раз Керенский не опоздал. И случилась невиданная вещь в революции: предпарламент открылся в назначенный час. Никто не мог этого предвидеть. И потому, говорят, в зале было не слишком многолюдно, а в Мариинском дворце было так же тоскливо и скучно, как на улицах Петербурга.

Я опоздал довольно сильно и, почему-то попав с незнакомого под'езда, долго плутал по бесконеч-

ным коридорам и комнатам дворца. Вышел я какими-то путями на хоры, в ложу журналистов и оттуда слушал конец тронной речи. Глава правительства и государства говорил в пусто-официальных, но высокопатриотических тонах. Ни одной живой конкретной мысли я не помню и не могу выловить из газетных отчетов. Но во всяком случае вся речь была проникнута «военной опасностью» — под впечатлением последних событий на фронте и только что полученного известия: немцы произвели десант и на материке, создавая угрозу Ревелю.

Затем старейшая в зале «бабушка» Брешковская была вызвана, чтобы устроить выборы президиума, и произнесла внушение насчет обороны и земли. За Авксентьева было подано 228 записок, — не много. Но это по случаю пустоты в зале, фракции же были единодушны. Авксентьев также произнес речь, читая ее по бумажке. Тут уж и искать нечего какого-либо содержания. Но надо отметить прочитанное Авксентьевым дипломатическое обращение к нашим доблестным союзникам: «С нами всегда великие союзные народы, с нами спаяны они кровью, с нами слиты они в счастьи и в несчастьи, в стремлении к скорейшему почетному миру, и мы им шлем свой горячий братский привет». Аплодисменты превратились в овацию по адресу присутствовавших послов и дипломатических представителей. Весь зал от Гучкова и ген. Алексеева до Чернова и Дана, встал и, аплодируя, обернулся к нам, интернационалистам и большевикам, сидевшим на крайней левой: за нашей спиной стояли в своей роскошной ложе и раскланивались дипломаты. Но рукоплещущий зал смотрел не с умилением на «спаянных» союзников, а с гневом и презрением на нас. Мы сидели не-

подвижно, спиной к чествуемым: нас было около трети всего зала; и как суб'екты, так и об'екты овации вероятно предпочли бы, чтобы ее не было.

Товарищами председателя быстро и без труда были избраны кадет Набоков, правый меньшевик Крохмаль и, вместо отказавшегося большевика, представитель микроскопической группы, энес Пешехонов... Но собственно весь политический интерес первого дебюта предпарламента заключался именно в большевиках.

* * *

Вся их большая фракция явилась с опозданием, почти одновременно со мной. У большевиков было важное и бурное заседание в Смольном, которое только что кончилось. Большевики решали окончательно, что им делать с предпарламентом: уйти или оставаться? После первого заседания, где вопрос остался висеть в воздухе, у большевиков по этому поводу шла упорная борьба. Ею очень интересовались, как пикантным инцидентом в Смольных сферах... Мнения большевиков разделились почти пополам, и к чему склонится большинство, было неизвестно. Передавали, что Ленин требует ухода. Его позицию защищал с большим натиском и Троцкий. Против ратовали Рязанов и Каменев. Правые требовали, чтобы исход из предпарламента был, по крайней мере, отложен до того момента, когда предпарламент проявит себя хоть чем-нибудь, — напр., откажется принять какое-нибудь важное постановление в интересах рабочих масс. Говорили, что иначе исход будет непонятен, не будет оценен народом. Но Троцкий, для которого

все вопросы были решены, настаивал, чтобы не было никаких неясностей, чтобы корабли были сожжены окончательно и всенародно. Пусть видят и понимают обе враждебные армии!

Во время перерыва, когда происходили выборы, в кулуарах Мариинского дворца, распространился сенсационный слух: Троцкий победил большинством двух или трех голосов, Рязанов извергает громы, считая решение гибельным, и большевики сейчас уйдут из предпарламента. Мало того, лидеры меньшевиков и эсеров с беспокойством передавали, что большевики, перед уходом, устроят грандиозный скандал. Уже начинали из уст в уста переходить самые невероятные слухи. Возникал род паники. К большевикам отрядили кого-то из официальных лиц для приватного запроса.

— Пустяки! — ответил Троцкий, стоя неподалеку от меня, в ротонде, примыкающей к залу заседаний, — пустяки, маленький пистолетный выстрел...

Троцкий, однако, казался довольно нервным — в ожидании «выстрела» и в результате вынесенной борьбы, окончившейся не блестяще. Правые большевики, около Рязанова, ворчали и были злы. Мне вся эта история была очень неприятна, и я не подошел к Троцкому.

В конце заседания Авксентьев дал ему слово для внеочередного заявления, сроком на 10 минут, согласно наказу Гос. Думы, принятому и для предпарламента. В зале сенсация. Для большинства цензовиков знаменитый вождь лодырей, разбойников и хулиганов — еще невиданное зрелище.

— Официально заявлявшейся целью демократического совещания, — начинает Троцкий, — явля-

лось упразднение личного режима, питавшего корниловщину, создание подотчетной власти, способной ликвидировать войну и обеспечить созыв Учр. Собрания в назначенный срок. Между тем, за спиной дем. совещания путем закулисных сделок гражданина Керенского, кадетов и вождей эсеров и меньшевиков достигнуты результаты прямо противоположные. Создана власть, в которой и вокруг которой явные и тайные корниловцы играют руководящую роль. Безответственность этой власти закреплена формально. Совет Росс. Республики об'явлен совещательным учреждением. На восьмом месяце революции безответственная власть создает для себя прикрытие из нового издания булыгинской думы. Цензовые элементы вошли во Вр. Совет в таком количестве, на какое, как показывают все выборы в стране, они не имеют права. Несмотря на это именно кадетская партия добилась независимости правительства от Совета Республики. В Учр. Собрании цензовые элементы будут занимать несомненно менее благоприятное положение, чем во Вр. Совете. Перед Учр. Собранием власть не может быть не ответственной. Если бы цензовые элементы действительно готовились к Учредительному Собранию через полтора месяца, у них не было бы никаких мотивов отстаивать безответственность власти сейчас. Вся суть в том, что буржуазные классы поставили себе целью сорвать Учр. Собрание...

Поднимается скандал. Справа кричат: ложь! Троцкий старается проявлять полное равнодушие и не повышает голоса.

— ... В промышленной, аграрной и продовольственной областях политика правительства и имущих классов усугубляет разруху, порожденную вой-

ной. Цензовые классы, провоцирующие восстание, теперь приступают к его подавлению и открыто держат курс на костлявую руку голода, которая должна задушить революцию и в первую очередь Учр. Собрание. Не менее преступной является и внешняя политика. После 40 месяцев войны столице грозит смертельная опасность. В ответ на это выдвигается план переселения правительства в Москву. Мысль о сдаче революционной столицы немецким войскам ни мало не вызывает возмущения буржуазных классов, а, наоборот, приемлется, как естественное звено общей политики, которая должна облегчить им контр-революционный заговор...

Скандал усиливается. Патриоты вскакивают с мест и не дают продолжать речь. Кричат о Германии, о запломбированном вагоне и т. п. Выделяется возглас: мерзавец!... Я подчеркиваю: в течение всей революции, и до, и после большевиков, ни в Таврическом, ни в Смольном, как бы ни были бурны заседания, как бы ни была напряжена атмосфера, — на собраниях наших «низов» ни разу не раздавалось подобного возгласа. Достаточно было попасть нам в хорошее общество Мариинского дворца, в компанию вылощенных адвокатов, профессоров, биржевиков, помещиков и генералов, — чтобы немедленно восстановилась та кабацкая атмосфера, которая царила в цензовой Государственной Думе...

Председатель призывает «собрание к порядку». Троцкий стоит, как будто все это его не касается и, наконец, получает возможность продолжать.

— Мы, фракция с д. большевиков, заявляем: с этим правительством народной измены и с этим «Советом» мы...

Скандал принимает явно безнадежный характер. Большинство правых встает и, видимо, намерено не дать продолжить. Председатель призывает оратора к порядку. Троцкий, начиная раздражаться, кончает уже сквозь шум:

— ... с ними мы ничего не имеем общего. Мы ничего не имеем общего с той убийственной для народа работой, которая совершается за официальными кулисами. Мы ни прямо, ни косвенно не хотим прикрывать ее ни одного дня. Мы взываем, покидая Вр. Совет, к бдительности и мужеству рабочих, солдат и крестьян всей России. Петроград в опасности, революция в опасности, народ в опасности. Правительство усугубляет эту опасность. Правящие партии усугубляют ее. Только сам народ может спасти себя и страну. Мы обращаемся к народу: да здравствует немедленный, честный демократический мир, вся власть советам, вся земля народу, да здравствует Учредительное Собрание!...

Троцкий сходит с кафедры, и несколько десятков человек крайней левой, среди шума и возгласов, покидают зал. Большинство провожает их презрительными взглядами, машут руками, — скатертью дорога! Большинство ничего не поняло и не видело: ведь это только шестьдесят человек особой звериной породы ушли из человеческого общества. Только одни большевики! Скатертью дорога. Без них спокойней и приятней.

Мы, ближайшие соседи большевиков и их соратники, сидели совершенно удрученные всем происшедшим.

* * *

Несмотря на всю силу и блеск своего выступления, Троцкий, как видим, отнюдь не доказал необходимости исхода. Не доказал потому, что не хотел договорить до конца. Но со своей точки зрения уходящие были достаточно логичны. Если они были по ту сторону всего этого строя, то им действительно нечего было делать в предпарламенте и вносить неясность.

Но именно так и надо было понимать дело: если им тут делать нечего и они ушли, то стало быть они — по ту сторону. Из предпарламента им только одна дорога: на баррикады. Бросая «избирательный бюллетень», необходимо взять винтовку. А твердо решив все вопросы, твердо решив взять винтовку, нечего делать с бюллетенем... Так все и было. Но большинство этого не поняло, этого не видело, этому не верило. Мы, соседи и соратники, это понимали. Но мы это не считали правильным.

«Только одни большевики»... Для предпарламентского большинства это была кучка, которую можно было ликвидировать путем репрессий. Для нас это была подавляющая часть рвущегося в бой, пышущего классовой ненавистью пролетариата, а также истерзанной солдатчины, а также отчаявшихся в революции крестьянских низов. Это была огромная народная лавина. Это были миллионы. Справиться с ними при помощи репрессий, да еще нашей опереточной власти!...

Для нас, интернационалистов, вопрос ставился совсем не в этой плоскости. Не в том дело, что нельзя ликвидировать большевиков, ибо это — сам народ, творящий новую жизнь. Дело в том, что пролетариат, солдатчина и крестьянские низы, возглавляемые большевистской партией, находясь по

ту сторону существующей «государственности», идут теперь с оружием в руках против всего старого мира, чтобы на свой страх и риск сравнять с землей всю созданную веками государственность и вырвать с корнем тысячелетний буржуазный строй. Силами одной своей партии пролетарского авангарда, окруженного миллионами случайных и ненадежных попутчиков, они хотят создать новое невиданное пролетарское государство и новый невиданный социально-экономический строй. Они хотят сделать это в нашей раззоренной, полудикой, мелкобуржуазной, хозяйственно-распыленной стране. Они хотят сделать это против организованных мелкобуржуазных элементов, против единого буржуазного фронта, поставив окончательно крест на едином фронте демократии.

Это роковая ошибка. Это неправильно поставленная задача, это гибельная программа и тактика революции.

Новая революция была допустима, восстание было законно, ликвидация существующей власти была необходима. Но все это было так — при условии единого демократического фронта... Это означало борьбу с оружием в руках только против крупного капитала и империализма. Это означало только ликвидацию политического и экономического господства буржуазии и помещиков. Это не означало окончательного разрушения старого государства и отказа от его наследства. Это не означало ликвидации экономических и социальных основ всего старого общества. Это означало правомочное участие мелкобуржуазных, меньшевистско-эсеровских групп в строительстве нового государства вместе с пролетаритом и крестья-

янством. Они все были *безусловно необходимыми* элементами новой государственности, возникающей на развалинах государства эксплуататорского меньшинства. И это было единственно правильной постановкой проблемы в условиях нашей революции.

Для этого был необходим единый фронт, теснейший союз революционных низов с мелкобуржуазной серединой. Достигнуть его было крайне трудно, если только вообще возможно. Меньшевики и эсеры, действительно, были опорой реакции и крепко прилепились к кадетам и корниловцам. И они не вмещали, не принимали, не понимали насущных задач революции. Оторвать их от полукорниловщины Зимнего дворца и толкнуть их к другому лагерю, чтобы *туда* прилепились эти промежуточные группы, — было крайне трудно, если возможно. Но иного выхода не было. Такова была об'ективная кон'юнктура. И в том то и состояла бы настоящая мудрость пролетарской революционной партии, чтобы всей своей политикой обеспечить единый фронт, притянуть к союзу мелкобуржуазные группы, без которых нельзя было вывести на правильный путь революцию и основать на прочном базисе новое рабоче-крестьянское государство в нашей мелкобуржуазной стране. При правильном понимании задач, при правильной оценке кон'юнктуры, при надлежащей мудрости пролетарской партии, это трудное дело было возможно. Направив к *этому* всю политику, можно было обеспечить этот союз — если не убедив в его необходимости, то вынудив его силой.

Но руководители большевистской партии были чужды и враждебны всему сказанному. Они *не-*

правильно ставили основную задачу революции. И они всегда вели не политику союза, а противоположную политику разрыва, раскола и взаимной изоляции.

Уход большевиков из предпарламента был знаменательным шагом. Бросив избирательные бюллетени, большевики, на глазах у всех, имеющих их, чтобы видеть, схватили винтовки. Они не имели никаких шансов вызвать этой демонстрацией сочувствие меньшевиков и эсеров и имели все шансы их далеко оттолкнуть. Большевистские лидеры прямо шли и рассчитывали на это.

И не то удручало нас, интернационалистов, что большевики ушли к оружию, на баррикады, делать законную революцию. Не тот факт вызывал смущение, что тут корабли были сожжены. Удручающе действовал тот факт, что при об'явлении гражданской войны демократический фронт был почти безнадежно разорван большевиками, что они направляли оружие против элементов, необходимых для них самих и для осуществления правильно поставленных задач революции.

Ну, а что было бы, если бы большевики остались в предпарламенте? Что было бы, если бы они в этом жалком, но судьбою данном учреждении, в деле ликвидации керенщины, обнаружили бы склонность к некоторому контакту со старым советским блоком, как то было в краткий миг ликвидации корниловщины? Об этом мы — не то, что не станем, а во всяком случае подождем гадать. Отметим себе только два обстоятельства. Во-первых, новая коалиция, как и всякая другая «керенщина», существовать больше не могла. Судьба ее была предрешена всей кон'юнктурой, и, в частности, хотя бы тем фактом, что вся

реальная сила была уже в руках большевиков. Во-вторых, большевики были бы в предпарламенте очень сильным инициативным меньшинством; вместе с интернационалистами и примыкающими эсерами меньшинство это могло составить процентов 30; в случае обострения ситуации и раскола меньшевистско-эсеровского блока (как то бывало в Смольном со времени корниловщины) — на стороне прежней советской левой было бы большинство предпарламента... Все эти абстрактные подсчеты имели бы значение на тот случай, если бы большевики не были большевиками и понимали бы значение единого демократического фронта. Тогда впоследствии можно было бы увидеть, что вышло бы из этого. Но сейчас мы все же оставим то, чего не было. Обратимся к тому, что было.

* * *

После ухода большевиков на крайней левой осталась наша группа. Мы занимали только переднюю часть левого сектора. Возле нас были и левые эсеры, которые действовали с нами в полном контакте. Из «об'единенных-интернационалистов» (новожизненцев) я припоминаю, собственно, одного москвича Волгина; но, кажется, их было человек пять, среди которых — увы! — не было Стеклова; не будучи признан, он как-будто уже вышел из этой «партии», но еще не был у большевиков... Всего непримиримая левая насчитывала в лучшем случае около 50 человек.

Всей же «демократии» теперь оставалось человек 250. Буржуазии было свыше 150. И, в резуль-

тате, в ответственных голосованиях дело решали кооператоры, «энесы» и т. п. Эта «демократия», как будет видно, не прочь была голосовать с цензовиками. Прочного большинства против корниловцев в предпарламенте ныне не было. Да и вообще без большевиков изменилась не только физиономия предпарламента, но, можно сказать, и самая его природа, весь его об'ективный смысл.

Среди правой части, кстати сказать, немедленно возник проект поделить большевистские места между остальными фракциями. Так хорошо подействовал исход на настроение буржуазии. Но проект был снят по протесту левых.

В тот же вечер наша предпарламентская фракция собралась, чтобы обсудить положение, создавшееся в результате исхода большевиков. Среди нас не было людей, которые одобряли бы Троцкого. Но были сторонники того мнения, что ныне окончательно «извращен» предпарламент, и пребывание в нем после ухода большевиков — недопустимо. Большинством, однако, решили остаться в предпарламенте, но мотивировать наши цели в особой декларации. Мартов написал ее, а один из членов фракции, известный рабочий Волков, при шуме и смехе высокого собрания, огласил ее в заседании 10 октября.

Документ этот вначале повторяет, почти в тех же выражениях, тезисы приведенной речи Троцкого. А продолжает так:... «В виду создавшегося положения значительная часть рабочего класса, справедливо возмущенная, повернулась спиной к этому предпарламенту и ищет выхода на таком пути, который может стать опасным для судеб революции. Предостерегая рабочие массы от этого пути,

мы остаемся в Совете Республики в твердом убеждении, что временный упадок революции, отразившийся в нерешительности и колебаниях непролетарских слоев демократии, неизбежно сменится новым под'емом революции, и что недостаточная политическая зрелость этих слоев скоро будет преодолена горьким опытом неизбежных разочарований в политике коалиции. Мы остаемся в Совете, видя в нем одну из арен классовой борьбы, на которой с.-д. имеет возможность бороться за интересы революции против цензовых элементов и тем отрывать отсталые слои демократии от коалиции с буржуазией. С трибуны Совета мы будем разоблачать контр-революционный характер всего режима коалиции, политику провокации гражданской войны и капитуляцию перед цензовыми элементами социалистического большинства»...

* * *

С 10-го октября началась «нормальная жизнь» предпарламента. Жужжали уютно-роскошные кулуары, действовал буфет, шмыгали, прислушивались и собирали «новости» журналисты... Сообщали «сенсацию», будто бы министр внутренних дел Никитин, только что исключенный меньшевиками из партии, получил отставку: наш глава, вернувшись из Ставки, имел с ним крупный разговор и резко выражал ему недовольство за нераспорядительность по части анархии. Считалось, что этого достаточно для отставки министра. Злые языки прибавляли, что «анархия» есть только повод для нашего владыки осуществить свою заветную мечту: посадить кадета Кишкина на место министра внутренних дел. Ну

что ж! Salus populi suprema lex!.. Впрочем, насчет нераспорядительности Никитина наш тучесобиратель, видимо, преувеличивал. Никитин только что внес проект особых комитетов или чрезвычайных комиссий по борьбе с контр-революцией. Если припомнить, что контр-революцией в Зимнем называлось по преимуществу большевистское движение, то какая же тут нераспорядительность?.. Вот только что не успел — и осуществлять проект пришлось самим большевикам. Никитину потом пришлось лично на себе испытать результаты своей инициативы. Не могу только сказать, обвиняли ли его большевики в анархии...

Фракции обзавелись собственными отличными помещениями, каких никогда не было ни в Таврическом, ни в Смольном. Комфортабельная комната нашей «многолюдной» фракции была в самом конце нижнего коридора. Неподалеку были «большие» меньшевики. Особо устроились по близости и левые эсеры. Буржуазия же расположилась в парадных апартаментах, наверху. Помещения всем хватало. Повсюду радовали глаз совершенно непривычные в революции комфорт, чистота и порядок. В библиотеке были налицо справочники и все газеты. В зале заседаний не валялись окурки. Контраст с грязным, темным Смольным, пропитанным солдатскими запахами, был разительный. Среди всего этого великолепия хотелось отдыхать, забыть о трудах и борьбе, о голоде и войне, о развале и анархии, о стране и революции. Хотелось прочно сесть в вольтеровское кресло и взять в руки Одиссею, либо Евгения Онегина.

* * *

В Мариинском дворце не было ни революции, ни настоящего дела. Все это было в темном, грязном и заплеванном Смольном. Здесь была только вялая, равнодушная, искусственная инсценировка настоящего дела и настоящего парламента... Надо было быть на чеку. Неправильный уклон деятельности Совета Республики и, в частности, неправильная линия поведения нашей фракции — могут немедленно превратить это учреждение во вреднейшее орудие укрепления коалиции.

Совершенно ясно, что правая часть его, то-есть сторонники безответственной власти, будут стремиться всеми силами лишить предпарламент всяких политических функций: это должно быть совещание при правительстве для обсуждения органических мероприятий. В этих целях было постановлено образовать множество парламентских комиссий, как бы рассчитанных на долгую органическую работу. А правительство уже об'явило, что оно вносит в предпарламент целый ряд законодательных предположений — совершенно не политического и вообще никчемного характера.

Эту тенденцию надлежало немедленно «ухватить» и принять все меры к тому, чтобы она не восторжествовала. В частности, нам, революционному меньшинству, надлежало стремиться всеми силами превратить предпарламент в политическую арену, в орудие разоблачения и удушения коалиции. На этот счет мы имели суждения в нашей фракции...

Было очевидно, что спасти положение и предотвратить «изолированное» выступление большевиков было теоретически мыслимо только одним путем: немедленной ликвидацией «керенщины» и созданием власти из советских элементов. Я настаивал на не-

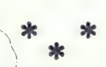
медленных и самых активных атаках. Вопрос об отставке Керенского и его товарищей было необходимо сейчас же поставить ребром. Уже одна его парламентская постановка, в связи с общей ситуацией, внесет разброд в меньшевистско-эсеровский блок и волей-неволей втянет его в борьбу с коалицией. Средства этой борьбы будут мирны; но в случае обострения кон'юнктуры — при появлении особых поводов — эта борьба может иметь решительные результаты. Несмотря на юридическое бесправие, против предпарламента коалиция существовать не могла.

Однако, мои сокрушительные тенденции встречали во фракции отпор — со стороны самого Мартова... Мартов у нас был единственный. После него в нашей организации также — долго, долго не было никого. Его авторитет, исторически сложившийся, был непререкаем. И борьба с Мартовым имела много препятствий помимо чисто логических... Но все же у нас во фракции образовалось два течения и даже два крыла. Одно активное, другое кунктаторское, поссибилистское, нерешительное. На стороне последнего было большинство, хотя и незначительное. Главное же — Мартов у нас был официальным оратором, который, так сказать, сам собой разумелся. По всем центральным политическим вопросам приходилось непререкаемо выступать ему. И, надо сказать, он любил и хотел выступать. Да никто из нас, конечно, и не мог бы делать это с равным искусством. Мартов вместе с тем был монопольным и несравненным писателем всех резолюций... Линия же, которую он проводил в речах и в резолюциях, была линия резких нападок и разоблачений, но мягких выводов.

Я не только не сочувствовал, но собственно и не понимал в конечном счете его позиции и реагировал на нее со свойственной мне раздражительностью. Заседания нашей фракции были упорны и довольно бурны. Мартов старался проявлять товарищескую и... отеческую мягкость. Но систематически голосовал против меня — не только при обсуждениях, но и при всех выборах (в комиссии, в ораторы, в делегации). Однако, левое крыло не было угнетенным и иногда боролось с успехом.

Состав нашей фракции был не только более многолюден, чем когда-либо, но и качественно был достаточно высок. Кажется, все без исключения были пригодны для ответственных и активных ролей, и налицо были специалисты по всем отраслям государственной жизни. Мартов был нашим представителем в «сеньорен-конвенте». В бюро фракции вошли — Астров, Ерманский, Мартынов, Семковский и я. Кроме того в комиссиях работали Лапинский, Никитский, Капелинский, Волков, Вечеслов, Мандельберг, Е. Громан, Пилецкий, Броунштейн и др.

Другие фракции также «самоопределялись». Судили о задачах и платформах, взаимно «зондировали почву», заключали блоки и соглашения. «Демократические» земцы предложили цензовым казакам совсем слиться в единую фракцию — «в виду единства платформы»; казаки согласились, брак был по любви, но не берусь сказать, кому пошел на пользу.



В предпарламент был внесен целый ряд «органических» проектов. Однако, текущая работа началась с больших прений по обороне государства.

Очевидно, «власть» предполагала, что тут последует одна только демонстрация высокого патриотизма, полезная для страны, и приятная для дружественной Европы. Но прения все же не были лишены политических неприятностей. Впрочем, не надо думать, что эти тягучие, безбрежно расплывшиеся разговоры были способны что-либо изменить в ходе дел или доказать, будто бы эта вновь заведенная громоздкая и дорогая машина на что-нибудь нужна государству.

Доклады делали министры Верховский и Вердеревский. Маленькая политическая пикантность состояла в том, что беспокойный военный министр — как-никак представлявший правительство — очень рассердил правую часть и развил в ней оппозиционные настроения. Прежде всего, в несдержанных выражениях, он отозвался о клеветниках и поносителях армии, которые угашают этим ее дух и являются истинными пораженцами. Эти клеветники и поносители, патриотические кадеты и корниловцы, сидели тут же, лицом к лицу с оратором, — и, конечно, очень рассердились ... Затем, говоря о состоянии армии, министр бестактно отметил два фактора ее «разложения»: корниловщину, вырывшую пропасть между солдатом и офицером, и непонимание солдатской массой, за что она воюет... К счастью для цензовиков, тут молодой генерал несколько сбился, проявив полное непонимание высокой политики... Дальше министр изложил свою «большевистскую» программу и кончил среди возгласов цензовиков о дисциплине: армейские организации — основа для восстановления дисциплины; «усмирением» и «карами» ничего не добиться, а кто ждет и жаждет именно этих мер, тот дождется и получит их — от немцев.

Возмущение патриотов было очень сильное. Верховскому бросали лестные эпитеты и в том числе «Марков 2-й»... Все это было любопытно в том отношении, что теперь давление на коалицию справа было неизбежно. Министры кадеты и биржевики претерпеть таких речей не могли. Против Верховского, назначенного среди корниловской паники, должна начаться закулисная кампания. И новой коалиции была суждена трещина независимо от работы демократического большинства. Тем скорее должна была рухнуть последняя коалиция.

Верховского продолжал Вердеревский. По существу он говорил в том же духе, но по форме он был очень корректен и академичен. Он не очень рассердил патриотов, но и не вызвал большого удовольствия... «Спасать положение» пришлось ген. Алексееву — от имени московских «общественных деятелей». Правые инсценировали большой энтузиазм. Но что мог сделать Алексеев? Он склонял слово дисциплина, несмело ворчал на армейские комитеты, а в общем повторил ту же свою речь, которую с этой же трибуны он произнес в конце апреля, обращаясь к нарочито приглашенным членам Исполнительного Комитета (см. третью книгу «Записок»). Он сделал те же выводы и кончил речь словами: «Пусть смолкнет проповедь мира, пусть русский народ заклеймит наименованием изменников всех тех, кто толкает его на путь позора и рабства»... Больше ничего этот высший авторитет предложить не мог. Это была, конечно, не программа, а просто абстракция. Без помощи корниловщины проповедь мира прекратить было нельзя. Программой была именно корниловщина. Но корниловщина была тоже абстракцией, — буржуазно-военная диктатура

была недостижима. Да, наконец, дело же было и не в проповеди мира. Ну, пусть большевики и «Новая Жизнь» замолчат. Изменит это теперешнее об'ективное положение армии?.. Нет, буржуазия ровно ничего предложить не могла, кроме безответственных словесных абстракций. Но не сдавалась, не делала выводов и патриотически толкала к катастрофе.

Замазывать неловкости прений вышел и сам Керенский. Он кланялся и направо, и налево, играл и демократизмом, и патриотизмом, очень угодил большинству, но не сказал ровно ничего членораздельного. Ему устроили овацию, вставши всем залом. Налево сидели всей фракцией мартовцы; направо — одиноко — Милюков.

Прения «по обороне» продолжались чуть ли не три дня. Говорили только фракционные ораторы, но ведь фракций и групп был легион. Говорили по поводу обороны решительно обо всем — больше всего о внешней политике. Было очень нелепо и досадно, ибо полная бесплодность всего этого была очевидна и заведома. Однако, нельзя сказать, чтобы митинг, если бы он был гораздо короче, не был бы интересен. Как-ни-как два лагеря тут встретились лицом к лицу впервые, и они мерялись силами со старанием и даже с энтузиазмом...

Одним из первых выступал Мартов, который произвел сильное впечатление, как ни старались делать гримасы цензовики. От имени нашей фракции он прочитал проект резолюции. В своей критической части резолюция была очень удачна; но выводы были совершенно недостаточны. В интересах обороны там требовались, среди других мер, отмена смертной казни и немедленное предложение всем

воюющим державам приступить к мирным переговорам. Это было правильно по существу, но не было указаний на то, что этих требований не может выполнить существующая власть; не было требований немедленной ликвидации существующего правительства, ради осуществления указанных целей. Я считал это центром выступления и требовал этого во фракции, но надлежащего успеха не имел.

Из других ораторов трехдневного митинга упомяну яростного кадета Аджемова, взявшего очень высокие и решительные ноты. Наибольший внешний успех имела представительница кооператоров, известная москвичка Кускова; речь (как и оратор) была совершенно без стержня и без устойчивой мысли; но высокий кадетский патриотизм и обывательские сетования на левых, в комбинации с демократическим «именем», — очень угодили и цензовикам, и правым «демократам»...

Но интереснее всех, как явление предпарламента, был меньшевистский оратор Либер. Таким мы его никогда не видели и, увидав, не узнали. В Таврическом и Смольном он не умел ни о чем говорить и, казалось, не умел думать — кроме всяческого ущемления большевиков и их отцов, и их детей, и их знакомых. Зимний дворец, со всем его антуражем, в изображении Либера перед советскими сферами, являлся, как собрание добрых демократов и невинных агнцев. Теперь большевики были где-то там, по ту сторону, а Зимний — перед глазами. И только что, в лице Аджемова, он показал волчьи зубы, почти не прикрыв их лисьим хвостом... Наш Либер совсем преобразился. Его речь была сильна, ярка и целиком обращена направо. Он набросился

на буржуазию по всей линии. Он разоблачал подоплеку травли революционной армии, порицал командный состав, резко обрушился на саботаж дела мира, вскрыл истинное понимание «анархии» своей возлюбленной коалиционной властью, красочно иллюстрировал взаимоотношения кадетов, правительства и Каледина, реставрировал первоначальную советскую формулу — активной политики мира, как необходимого условия обороны. А кончил Либер требованием немедленной **отмены смертной казни**, которая «кроме озлобления и ослабления ни к чему не приведет». Все эти пункты были выражены в декларации, которую огласил Либер от имени меньшевиков.

В общем это выступление было характерно и симптоматично. Может быть, тут отчасти сказалось отсутствие тяжелого давления реакционного Церетели, от которого не могли эмансипироваться меньшевистские вожди. Но главное, конечно, было не это: с одной стороны, мысль начинала докапываться до сознания неминуемой катастрофы, с другой — очная ставка несколько отрезвила чувства... Шансы разрыва старого буржуазно-советского блока, шансы отрыва от контр-революции промежуточных групп, — несомненно, увеличились за время политической работы последней коалиции.

* * *

К концу заседания 13 октября «оборона» сменилась «эвакуацией». Глава правительства пожелал сам выступить с докладом и с раз'яснениями. Они сводились к опровержению газетных сведений о предполагаемом бегстве правительства и о возможной сдаче Петербурга.

«Однако, имея в виду возможность осложнения весной, Временное Правительство считает необходимым проводить в жизнь план постепенной эвакуации тех учреждений, которые не так тесно связаны с основными функциями управления. Поэтому Временное Правительство предполагает подготовить на случай надобности в Москве достаточно помещений и удобные условия работ Учр. Собрания и других центральных учреждений»... Это, как видим, совсем неясно: ибо нельзя считать доказанным, что Учредительное Собрание, а также и другие центральные учреждения не связаны с основными функциями управления. Но во всяком случае наш верховный владыка ударил отбой и в конфузе отменил эвакуацию правительства.

От нашей фракции, в ответ Керенскому, отлично говорил Никитский; в «парламентских» тонах он сказал все, что нужно, и о политической, и о деловой стороне вопроса.

Министр-президент, взорванный этой речью, бросился снова на трибуну. И дав волю сердцу, он начал с «шантажных газеток», а кончил большевиками:

— Здесь говорится, что население волнуется вопросом о с'езде 20 октября (хотя, кажется, об этом не произносилось ни одного слова! Н. С.). Я должен заявить, что Временное Правительство в курсе всех предположений и полагает, что никаких оснований для паники не должно быть. Всякая попытка противопоставить воле большинства и Вр. Правительства насилие меньшинства встретит достаточное противодействие. Я человек обреченный, мне уже безразлично и смею сказать: это совершенно невероятная провокация, которая сейчас творится в

городе большевиками... Нет сейчас более опасного врага революции, демократии и всех завоеваний свободы, чем те, которые под видом демократических лозунгов, под видом углубления революции и превращения ее в перманентную социальную революцию, развращают и, кажется, развратили уже массы до того, что они перестали отличать борьбу с властью от погромов, забыли, что Россия многие годы боролась за то, чтобы выйти свободными борцами на мировую арену не с запачканными невинной кровью руками. Мы стоим на необходимости защиты слова и печати и ждем, когда само общественное мнение заставит исчезнуть те органы печати, которые, под видом свободы, служат шантажу, погрому и разврату масс — будь это под левым или правым соусом, правительству безразлично.

Керенский кончил. Он не особенно деловым образом, но все же достаточно об'яснился. О характере и достоинствах этого об'яснения — судите сами.

Я не слышал всей филиппики премьера, войдя в зал уже к концу ее. Между тем, председатель, на основании соответствующих параграфов наказа, предложил желающим воспользоваться правом слова после раз'яснений министра. Товарищи по фракции, за отсутствием Мартова, бросились на меня с требованием идти на трибуну. Но это означало — в неблагоприятной обстановке, когда депутаты уже начали расходиться — говорить экспромтом общеполитическую речь. К негодованию соседей, я не решился, и Керенский остался без ответа. Потом за это пробирал фракцию отец-Мартов.

Но уже был вечер. Я отправился в редакцию и отвел душу в завтрашней передовице.

* * *

Парламентские речи об обороне, конечно, не привели ни к чему. Но не большие результаты имели и разговоры об этом в подлежащих правительственных органах. Оборона была сейчас злобой дня. Но сделать для нее что-либо реальное власть была неспособна.

Однако, мы знаем, памятуя о «закрытых заседаниях» в Смольном, что в глазах советских элементов проблема обороны снова стала преломляться в проблему мира. И пока политики разговаривали про оборону, сонмы фронтовых делегатов, с петициями и наказами, продолжали упорно напоминать о мире. Постольку — и проблема мира стала злобой дня. Внешняя политика и мирная программа стали вызывать столько разговоров, сколько мы еще, пожалуй, не слышали в революции.

При этом толки шли, главным образом, среди саботажников мира, среди промежуточных, меньшевистско-эсеровских групп. И толки эти стали очень нервными, а нервность перешла в довольно резкую оппозиционность. Тому были свои причины.

Началось дело из-за копеечной свечки, из-за наказа Скобелеву. Мы знаем, что всю эту затею, под давящими вестями с фронта, едва-едва удалось протащить в Смольном — при резком отпоре со стороны сильного меньшинства. Отступать уже было, можно сказать, некуда. Но со стороны Зимнего и его прессы поднялся ураганный огонь. Наказ Скобелеву имел огромный «успех скандала». Кадетская «Речь» уверяла, что «скандальное впечатление, производимое этим документом, обусловливается проникающим его духом чудовищного легкомыслия; забавных иллюстраций поразительного невежества и феноменальной несерьезности составителей

можно было бы привести сколько угодно». Помилуйте, — опубликование договоров, отмена тайной дипломатии, самоопределение Эльзаса, нейтрализация проливов! И в публицистической, и в беллетристической форме изображали, как с подобными заявлениями Скобелев выступит среди серьезных и понимающих людей. Всю затею квалифицировали, как явно несерьезную, об осуществлении которой не должно быть и речи.

Терещенко и его коллеги не предавались беллетристике, но были полны патриотического негодования и заявляли о совершенной невозможности всего предприятия. Но главное началось, когда наказ попал в Европу. Разумеется, союзная печать, как дважды два, сейчас же доказала его германское происхождение. Осыпая инициаторов площадной руганью, лучшие органы цивилизованного мира заявляли, что никаких «демократий» и никаких «наказов» союзники на конференцию не допустят.

Пресса точно выражала позицию правительств. Уже 7-го числа союзные послы посетили нашего Талейрана и сделали свои внушительные представления. Они заявили без всякой тайной дипломатии: пока у вас вся эта история не кончится, мы конференции не соберем. Затем поехали и к главе государства, повторив ему свой ультиматум об «отсрочке»... Наши неограниченные правители могли только расшаркаться перед своими господами. Но большого огорчения они, впрочем, не испытали: ведь они взялись выхлопотать эту насквозь лживую конференцию именно под давлением Совета; против своей воли они обязались хлопотать о ней в декларациях 6-го мая, 8-го июля и 25-го сентября; и если теперь союзники от нее отказываются из-за

глупости самого Совета, то дело «власти» — сторона... Как видим, позиция крайне патриотическая и весьма достойная.

В европейской прессе **иной ориентации** появились заметки, что в затяжке конференции виноваты сами демократические организации. Они де сами не только не торопили, но даже высказывались против большой спешки в этом деле. «Известия» в официальном порядке горячо протестовали против этой «инсинуации» и уверяли, что подобных заявлений со стороны демократии никто никогда слышать не мог. Но это было неверно. Церетели, за спиной у своих друзей, шушукался с Терещенкой о том, что было бы не плохо выждать, пока европейский пролетариат и т. д...

Однако, теперь было не то. Обезглавленная звездная палата и ее сторонники теперь настаивали и на конференции, и на Скобелеве, и на наказе. Они нервничали, раздражались, и были готовы всерьез начать оппозицию.

Числа 15-го в английском парламенте, левыми депутатами была сделана интерпелляция: что означает поднявшаяся травля, и состоится ли при таких условиях парижская конференция? Британский министр иностранных дел компетентно раз'яснил в ответ на это: задачи конференции не имеют ничего общего с вопросами, затрагиваемыми в наказе предполагаемому советскому депутату; конференция созывается не для обсуждения **целей** войны, а **способов ее ведения**...

Это были уже не собственные выводы русских интернационалистов. Это было официальное заявление первенствующего союзного правительства. Возникает вопрос: знало или не знало об этих целях кон-

ференции наше правительство? Если знало, то подписав свои обязательства оно заведомо обманывало демократию. Если не знало, то английские хозяева, перед лицом всего мира, третируют наших самодержцев, как своих лакеев, не считая нужным ни войти в соглашение, не осведомить их о своих истинных планах.

Если заявление британского министра было неожиданным, то выслушав его, как же должны были поступить наши правители? Чего требовал патриотизм? Чего требовало достоинство России, о котором они вопили?... Казалось бы, по меньшей мере требовало запроса, протеста, представления. Но ничего подобного не было ни сделано, ни предположено. Было предположено другое: Временное Правительство решило почтить состоящее при нем «совещание», то-есть все тот же предпарламент, большим политическим выступлением министра иностранных дел. Газеты сообщили о том, для чего это нужно, по мнению правительства: надо официально разнести наказ Скобелеву; пусть союзники имеют гарантии, что между точкой зрения правительства и Совета нет ничего общего.

Между прочим, г. Бонар-Лоу, в своем ответе на интерпелляцию, еще прибавил: ему совершенно неизвестно, что в России — республика. Никто его не извещал об этом.

Все это, вместе взятое, шокировало и раздражало промежуточные группы. Тут дело было не в сложных и недоступных идеях циммервальда. Тут были вполне доступные понятия об элементарной лжи и правде, о чести и достоинстве родины, которые отнюдь не были пустым звуком для всякого обывателя.

Между тем, правительство не остановилось на этом. «Попрание чести» и «национальный позор» были еще сильно углублены в это время некоторыми кричащими фактами... Керенский и Вердеревский, в описанном заседании предпарламента, были вынуждены громко и ярко засвидетельствовать исключительную доблесть наших моряков во время последних военных событий. Но наш флот был заведомо неспособен предотвратить наши неудачи. И вот в европейской социалистической печати тут же был поставлен вопрос: а где же был всемогущий британский флот, когда русские моряки геройски погибали в борьбе за общее дело? Почему не было сделано никакой попытки придти на помощь союзнику?... Из европейской прессы это перекинулось и в нашу. Не только левые, но и буржуазные газеты (из «безответственных») стали выражать горькую обиду.

Но этим дело не ограничилось. Вместо помощи «кровью спаянные» союзники взялись осыпать наших моряков самой зловонной грязью и заведомой клеветой... Эта милая картина была способна удручить и возмутить хоть кого — не только честных демократов, какими были советские мещане и обыватели.

Как же реагировали патентованные патриоты из Зимнего дворца, понуждаемые к протесту честной печатью?... Разумеется, они слушали и помалкивали. Достаточно и без того неприятностей у господина Бьюкенена...

Но и этого мало. В те же дни наше правительство по доброй воле напечатало длинное официальное сообщение о «мятеже русских войск во Франции». Сообщение было составлено в самых гнусных тонах

и пропитано все той же клеветой против русского солдата. Действительное положение дел там не выясняется ни единым словом. Ничего — кроме классической ссылки на большевистскую агитацию. В результате этой агитации, наш несчастный отряд, брошенный французскому капиталу для непосредственного потребления, потерял при усмирении 8 человек убитыми и 44 ранеными.

Действительное положение дел было описано в телеграмме собственного корреспондента «Новой Жизни». Российское пушечное мясо содержалось в прекрасной Франции так же, как содержались там «цветные войска», на положении скотины. Русских держали изолированно, не допуская сношений с внешним миром, кормили плохо, обещания вернуть на родину не выполняли в течение полугода. «Большевиков» сочинили для оправдания кровавой расправы... Все эти сведения ходили по заграничной печати. Но ведомство Терещенки распорядилось задержать телеграмму нашего корреспондента. Мы получили ее окольными путями.

Не правда ли, чувство «национального позора», при виде этого поистине хамского поведения, могло охватить даже потусторонних циммервальдцев... Ну, что было делать с таким правительством? Ну, как можно было терпеть его?... В меньшевистско-эсеровских головах происходило брожение. Обстановка предпарламента способствовала полевению. Ведь когда смотрели на все это из Смольного, то перед старым советским блоком стоял роковой ультиматум: либо апелляция к народу, либо келейные переговоры в кабинете Александра III; и, разумеется, всегда решали в пользу келейного соглашения.

Здесь же можно развернуть и некоторую борьбу: она будет совершенно мирная, но все же... необходимо бороться.

* * *

Кстати сказать, ведомство Терещенки задержало не одну только нашу телеграмму о мятеже во Франции. Та же участь постигла телеграфные выдержки из европейской демократической печати о назначении Маклакова парижским послом. Маклаков уже поскакал в Париж — пресмыкаться в передних и распинаться за корниловщину. А европейские социалисты недоумевали. Что же, совсем погибла русская революция?

Терещенко задержал телеграммы. Но ведь всего было никак не задержать! Например: разве Дану и Гоцу было более приятно слышать, как Набоков, на кадетском с'езде в Москве, хвастался новой правительственной декларацией? Ровно ничего де в ней от прежнего не осталось! А тоже задирали нос! Мы — революционная демократия! А вот и осталось от вас пустое место!... Нет, Дану и Гоцу это было неприятно.

Или история с казаками. История очень интересная. В ней отразилась не только об'ективная ситуация, но и истинная ценность идеи российской великодержавности в глазах нашего дрянного либерализма. Мы хорошо знаем, как кадетско-корниловские группы стойко охраняли в революции суверенитет великой державы российской. Если без большого успеха, то с огромным азартом, не взирая ни на что. Мы знаем историю с Кронштадтом и прочими «республиками». Мы помним, как реагировали эти груп-

пы на сепаратизм Украины, как относились к независимости Польши, как попирали законнейшие права Финляндии. Единство и неделимость Великой России защищались не меньше, чем при царе.

И вот вместо Кронштадта, Ташкента или Финляндии выступила российская вандея. Да еще как выступила!... Перед самым открытием предпарламента в петербургских газетах появилась такая телеграмма из Екатеринодара: «Кубанская республика является равноправным членом великого союза народов, населяющих Россию. Кубанская республика управляется законодательной радой. Во главе исполнительной власти стоит кубанское правительство и войсковой атаман, облеченный правом налагать вето на законы, издаваемые радой. Никакая власть не может вмешиваться в правление республикой, имеющей при центральной власти своего посла».

Через два-три дня появилась вторая телеграмма (казенного агентства). В ней значилось, что войсковая рада молодой, но энергичной республики постановила присоединить к своим владениям области — Терского, Донского и Астраханского войска, горцев северного Кавказа и еще некоторые территории. Однако, казацкие империалисты, заботясь об аннексиях, не забывали и контрибуций, а также и о водворении порядка в соседних государствах. В Донецком бассейне появились оккупационные отряды казацкой республики. Под предлогом восстановления нормального хода работ, они заняли отдельные шахты. Вместе с тем, республика заявила решительный протест против посылки в Донецкий бассейн правительственного комиссара... Это вам не дипломаты Зимнего перед лицом союзников!

По всей совокупности условий, Донецкий

бассейн мог быть целиком оккупирован и отторгнут от России со дня на день. Последствия ясны. Наш новый грозный сосед был явно опаснее Вильгельма.

Ну, и что же? Патриоты забили в набат? Развели они в России волну воинственного одушевления? Забились сердца в священном патриотическом порыве?... А правительство? Обратило оно на нового врага хоть часть ташкентской карательной экспедиции? Двинуло на Кубань и Дон 3-й или другой корпус с фронта. Торопили ли с этим Керенского кадеты-министры под угрозой немедленной отставки?

Надо ли говорить! Ничего подобного не произошло в этих сферах. За дело взялась левая пресса, но не встретила ни малейшего отклика. Так и промолчала вся, взятая в целом, буржуазная Россия, как-будто не произошло ничего.

Но казаки на этом не успокоились. Депутация доблестных донцов явилась в эти дни к министру-президенту. Говорили они не как подданные «неограниченного», а можно сказать, как люди, власть над ними имущие. Во-первых, Каледина они не выдадут и требуют особого «акта», который восстанавливал бы его в правах атамана. Во-вторых, если Керенский будет продолжать свою преступную связь с советами, то он будет лишен доверия. В-третьих, «в настоящих условиях войско не усматривает нужды употреблять усилия для доказательства своей верности родине и революции».

Что же, Керенский приказал их арестовать, как изменников? Или выгнал вон, как людей не в своем уме? Или просто накричал на них, как на забывшихся глупцов!... Нет, Керенский так отвечал им,

по пунктам, в дальнейшей дружеской беседе. По пункту первому, текстуально: «Временное Правительство смотрит на это сквозь пальцы». По пункту второму: с советами он ничего общего не имеет, ибо в их глазах он деспот и тиран; он только считается с фактом их существования. По пункту третьему — наш владыка ничего не ответил. Ни слова не сказал.

А казаки пошли дальше. Они отправились еще... к сэру Бьюкенему. Любопытно, что было бы, если бы российский посол в Лондоне принял депутацию синфейнеров или повел бы мирную беседу с представителями индийских повстанцев. Как реагировали бы Ллойд-Джордж и Бонар-Лоу? Что писали бы «Times» и «Morning Post»?... Мы не знаем, что за тайную дипломатию вели наши мятежники с английским послом в Петербурге. Газеты сообщали, что казаки добиваются своего представительства на парижской конференции. Может быть, об этом... Но наше правительство и буржуазные газеты во всяком случае промолчали. Не сказали ни слова.

Вся эта картина нашего «правления» и нашего положения также отлично действовала на настроение правых социалистов. Если не Гоцу, то Дану было во всяком случае неприятно... Гуляя по кулуарам Мариинского дворца меньшевики и эсеры покачивали головой и разводили руками. Что-нибудь приходится предпринять. Что-нибудь надо сделать. Непосредственное общение с кадетско-корниловскими сферами все более отталкивало влево.

Специальные причины для ворчанья имели земле-жадные эсеры. Я забыл своевременно упомянуть о «важном» обстоятельстве. Пост министра земледелия,

оставашийся с неделю вакантным, был ныне занят старым эсером, С. Л. Масловым. Это было недурное приобретение для коалиции. Ибо этот человек ничему помешать и ни на чем настоять заведомо не мог... Однако, он все же внес проект передачи земель в ведение земельных комитетов. Эсеры настаивали на этом. Ибо, как ни как, было ясно, что без этих минимальных гарантий земельной реформы аграрное движение будет бесконечно расти... Для коалиции тут большого риска не было. Правительство заявило, что рассмотрит проект. Несколько статей, действительно, рассмотрело, а потом положило под сукно. Новый министр жаловался своим товарищам. Эсеры ворчали.

* * *

Как же при всех этих условиях слагались группировки в предпарламенте?... Ведь его политическая миссия состояла в том, чтобы «поддерживать» коалицию и демонстрировать перед всей страной благодетельность этой власти. Стало быть, надо было не спать, а демонстрировать это. Ибо никто не решился бы утверждать, что наш добрый народ беззаветно чтит своих олигархов и пламенно верит им. Надо было укреплять и поднимать веру в то, что иного «нет спасения».

Этим с первых же дней были естественно обеспокоены некоторые группы предпарламента. Какие?... Ясно, что это не был ген. Алексеев. Это не были Гучков и Рябушинский. Это, наконец, не были кадеты.

В коалиции все они принимали участие, но странно было бы говорить, что правительство Керенского и

его бутафорская диктатура были для этих элементов путем к спасению. Это был, конечно, компромисс и способ выжидания. Среди всеобщей разрухи они закрепляли после-июльские позиции. Среди явно неустойчивого положения они собирали элементы новой корниловщины и настоящей буржуазной диктатуры. Но действительно поддерживать и популяризировать «керенщину» они не могли. Они не отказывались, конечно, войти в правительственную комбинацию, чтобы подпереть ее против советских элементов. Но быть застрельщиком в этом деле они, «по совести», не могли. Особенно после возмутительных парламентских выступлений Верховского и Вердеревского... Начиная с кадетов — была правая, чисто корниловская часть предпарламента.

Но советские элементы, по всей совокупности обстоятельств, также утеряли вкус к делу разбивания себе лба на защите Кишкина и Терещенки. Они, правда, отнюдь не порвали со своими славными традициями, не изменили своей «идее» и также не отказывались подпереть коалицию, только что созданную их усилиями путем прямой измены демократии. Но в данной обстановке каждая неделя равняется университетскому курсу политики. Настроения уже были не те. Меньшевики и эсеры были уже оппозицией, а не правительственными партиями. Они только еще не самоопределились...

Впрочем, эсеров надо было уже отличать от меньшевиков. Большинство эсеров еще не далеко ушло от Церетели. Оппозиционный Чернов был в меньшинстве — если оставить в стороне автономных левых. У меньшевиков же Дан, а пожалуй и Либер были равны Чернову и руководили оппозиционным

большинством... В общем, старый блок дифференцировался. Меньшевики взяли довольно твердый курс налево; эсеры же колебались и кое-как тащились на буксире.

Правительственными «партиями» без оговорок, — за совесть, а не за страх, — были всякие земцы, казаки, кооператоры, энесы, «государственники», «женское равноправие» и т. п. Это был центр предпарламента между цензовиками и демократией. Именно эти группы и находились в непрестанных заботах о поддержке коалиции. И энергично взялись за образование прочного правительственного большинства. Несмотря на то, что предпарламент был (по «положению») приглашен правительством, наличность такого большинства была проблематична. Надо было работать.

Работа началась в роскошных кулуарах. Но как будто бы двигалась не очень успешно. Правительственные группы были малы и никчемны, их лидеры не слишком авторитетны. Предварительные попытки как будто не имели большого успеха. Но вопрос должен был решиться на деле. Первое голосование политического вопроса решит, есть ли у правительства настоящее большинство, прочно ли оно и — возможно ли его образование.

Предстояло голосование «формулы перехода» после прений об обороне. Это было серьезной пробой. Кооператоры созвали предварительное совещание фракций, способных, по их мнению, стать на демократическую и вместе с тем патриотическую точку зрения. Пришли кадеты и более левые группы: казаки, эсеры. Меньшевики-оборонцы отказались... Но и среди явившихся обнаружился разброд.

Эсеры не требовали ни предложения мира, ни отмены смертной казни; но они требовали передачи земель в ведение земельных комитетов. Против этого требования (выходящего за пределы правительственной декларации) не возражали кооператоры, но возражали кадеты и энесы. В результате осталась крошечная формула без всякого политического содержания. По существу против нее никто не возражал, но эсеры голосовать за нее отнюдь не обещали...

Над правительственным блоком продолжали биться и впредь. Но все усилия оставались тщетными... С своей стороны, меньшевики пытались создать прочное левое большинство. Они привлекали, с одной стороны, эсеров, с другой — интернационалистов. Но это была также невыполнимая задача. Приходилось ждать, что будет на деле.

Пробный день наступил не так скоро, только 18-го октября, когда голосовалась «формула перехода» по обороне. При предварительном голосовании технического характера правая половина получила большинство в 4 голоса (131 против 127). Но если это окрылило кооператоров, то совершенно напрасно.

Формул же было внесено целых пять. Кооператоры требовали положения об армии, борьбы с самосудами и «твердой экономической политики». За это — под своей содержательной формулой они собрали голоса кадетов, энесов, промышленников и прочих мелких правых. Но утратили крупнейших эсеров. Эсеры же требовали — ясности целей войны и энергичной мирной политики, передачи земель комитетам и немедленной отмены смертной казни. Это было недурно. Но меньшевики все же выступили со своей формулой. Она вытекала

из речи Либера, требовала «исчерпания всех возможностей для немедленного открытия мирных переговоров» и отличалась от формулы мартовцев только отсутствием пункта о «немедленном перемирии».

Момент — в пределах Мариинского дворца — был довольно напряженный. Стороны волновались и обменивались комплиментами... Формула нашей фракции собрала 42 голоса, левых эсеров — 39, меньшевиков — 38, эсеров — 95 против 127 при 50 воздержавшихся. Кооператоры же и корниловский блок — собрали 135 голосов против 139...

Не прошла ни одна формула. Большинства не было ни у кого. Наши парламентарии были в отчаянии. Патриотическая пресса вздыхала и плакала над жалким предпарламентом, демонстрирующим один разброд перед лицом всей нации.

Но все же я в скобках замечу: 95 эсеровских голосов плюс 50 воздержавшихся давали уже большинство наличного кворума. Между тем, многие с крайней левой голосовали против. Формула же эсеров выходила далеко за пределы правительственной декларации и была по существу оппозиционной. Ведь всего три недели назад эсеры и меньшевики со скандалом отвергали (на первом заседании «демократического совета») «провокационные» большевистские предложения о земле и о смертной казни... Конечно, все это еще не говорило в пользу левого оппозиционного блока и не предрешало его возможности. Но это характеризовало предпарламентские настроения.

В заседаниях комиссий систематически проявлялся все тот же разброд. Везде левые, до эсеров включительно, наступали, везде встречали отпор и ни-

где не было большинства... Между прочим, правительство, в своей неизреченной мудрости решило упразднить пресловутый Экономический Совет — в виду того, что ныне существует экономическая комиссия предпарламента! Конечно, Экономический Совет все равно ничего не делал. Но нельзя же так глупо демонстрировать его ненужность и равноценность бесправнейшей, «совещательной» комиссии с целым министерством гражданина Третьякова. В предпарламенте разводили руками. Здравомыслящие люди были совершенно шокированы самодурством несмышленных правителей.

Кстати сказать, предпарламентской экономической комиссии предстояло удовольствие: рассмотреть вопрос о забастовке, ныне начавшейся в Донецком бассейне.

* * *

Парламентское выступление министра иностранных дел состоялось 16-го октября. Это был, конечно, «большой день». К нему готовились фракции. Во дворце был шум и возбуждение... Можно было, действительно, ждать кое-чего интересного, — если не от самого выступления Терещенко, то от его результатов...

А в тот же самый день правительство вновь имело суждение о предстоящем «выступлении» большевиков. Разумеется, было условлено «не останавливаться перед самыми решительными мерами». Впрочем, некоторые члены правительства успокаивали других: ведь замысел большевиков раскрыт, а если он заранее раскрыт, то выступления и не будет. На всякий случай авторитетное и популярное

правительство решило обратиться к населению с предупреждающим воззванием.

Другие власти это уже сделали, именно в тот же день. Городской голова Шрейдер умолял «не устраивать беспорядков во избежание верного голода в столице». Начальник военного округа Полковников, ссылась на «упорные слухи о вооруженном выступлении», апеллировал к патриотическим и революционным чувствам; он подтверждал «к неуклонному исполнению постановления Временного Правительства о запрещении на улицах всякого рода собраний, митингов и шествий, кем бы они ни устраивались»; и оповещал, что «для подавления всякого рода попыток к нарушению порядка» им, Полковниковым, «будут приниматься самые крайние меры».

Так!.. Мы сейчас не будем вдаваться в комментарии, но во всяком случае это была «обстановка» Петербурга в тот момент, когда члены предпарламента жужжали в залах Мариинского дворца в ожидании речи Терещенки.

Министр иностранных дел говорил достаточно ясно и толково. Молодой человек был не глуп и довольно ловок. Но, лягнув Милюкова, он всю свою дипломатию свел к рабскому подражанию своему предшественнику. И, конечно, был не в состоянии проявить оригинальность или самостоятельную мысль. Речь была выдержана целиком в плоскости защиты «независимой России» и ее «интересов». В своих общих положениях Терещенко тут ровно ничего не мог прибавить к обычной лживой фразеологии международного империализма. И только в ядовитых иллюстрациях министр проявлял собственную хитрость, шитую не живыми нитками, а целыми морскими канатами.

Как и все человечество, мы жаждем мира, но — не такого, который был бы унизителен и нарушал бы наши интересы. Мир могло бы дать июньское наступление. Но оно было сорвано. Это все, что было сказано насчет мира... Правда, Германия не раз предлагала мир и будет предлагать еще. Это министр знает наверное. И это вполне понятно. Германия отнюдь не есть победительница, и уже со времени битвы на Марне перешла к активной обороне.

Как надо ответить на мирные предложения Германии, министр не сказал. Но его хитрость тут ударила не только по Смольному, но и по Парижу. Если немцы не победили, обороняются и просят мира, то как же назвать позицию доблестных союзников?.. Дальше было в таком роде.

Терещенко, конечно, сторонник самоопределения и противник аннексий. Необходимо добиться самоопределения для народов, стонущих под игом Австрии. Хитро, не правда ли? Что же касается Эльзаса, Прибалтики, Польши и т. д., то тут выступают «интересы»... Затем шли «насущные нужды» промышленности, которая погибнет, когда хлынут немецкие товары. Очень верно и оригинально, молодой человек! Наконец, чтобы окончательно утереть нос Милюкову, противник аннексий пустил даже словечко о «свободном море», то-есть о необходимости для нас проливов, с Константинополем в придачу. Этого оратор не развил, чтобы не поняли сиволапые люди из Смольного. Но кому ведать надлежит, тем ясно...

Ну, мелкие промахи, конечно, не в счет! Министр уверял, напр., что на будущей парижской конференции союзники встретятся впервые. Понятно, что

он ничего не знал об экономической союзной конференции 1916 года: в те времена бойкий дипломат занимался еще одним балетом.

Но оставалась еще главная цель выступления: разнести демократическое представительство в Париже и ошельмовать наказ Скобелеву. Ну, тут было уж совсем топорно, хотя и патриотично. В образец наказу министр поставил известную декларацию голландско-скандинавского комитета. В ней нет упоминания о самоопределении Польши, Литвы и Латвии. Зачем же это есть в наказе? Это противоречит интересам России, — говорит сторонник самоопределения. С этим нельзя выступить на конференции. За это осудит русский народ... В столь же ярких и сильных выражениях министр разнес и некоторые другие пункты... После маленького гимна Великой России Терещенко сошел с кафедры при аплодисментах направо и в центре.

Как видим, выступление революционного министра, иногда рискованное для союзников и наших биржевиков, было совершенно неприлично с точки зрения демократии...

Прения были отложены. Трибуну занял министр продовольствия Прокопович, который требовал решительного прекращения анархии. Между прочим, он подтвердил ужасающее продовольственное положение действующей армии. И цитировал телеграмму командующего северным фронтом, ген. Черемисова: голод является «главной причиной морального разложения армии»... В общем министр продовольствия совершенно убедительно показал, что хлебная монополия, несмотря на удвоение цен, в условиях бестоварья, оказывается недействительной. Он заявил, что при данном положении дел

для хлебных заготовок придется употребить воинскую силу.

Однако, Прокоповича слушали довольно плохо. Все находились под впечатлением речи Терещенко. В кулуарах опять было людно и возбужденно. Меньшевики и эсеры имели несколько растерянный и сосредоточенный вид. Так нельзя! Что-нибудь не миновать сделать. Придется что-нибудь предпринять...

В общем, «парламентская борьба» заметно обострялась. Цензовики теперь ждали серьезного натиска. Отношения между двумя лагерями приобретали не вполне парламентский характер. Атмосфера становилась нервной [1]).

* * *

На следующий день пленарного заседания не было. Но заседали фракции и «сеньорен-конвент». В нем был поставлен вопрос о способах сокращения дальнейших прений, которые растянулись невыносимо.

---

[1]) Кстати, я помню случай из области личных отношений, который был единственным в моей жизни и произвел на меня сильное впечатление. Выходя в толпе депутатов из залы предпарламента после одного из первых заседаний, я увидел среди группы цензовиков профессора А. А. Кауфмана, старого кадета. Наши дружеские с ним отношения начались уже несколько лет назад и всегда были безоблачны. С крайним радушием я всегда был принят и в его семье. Кауфман был не только авторитетным моим наставником в научной области и не только человеком замечательной души. Я имел случай убедиться и в его гражданской твердости. Я говорил ему что он в этом случае действовал совсем не по-кадетски. Это было его выступление в печати по поводу присуждения мне премии Академией Наук за одну мою книгу. Кауфман не был рецензентом, и вообще, с формальной стороны, дело его ничуть не ка-

Нельзя же по каждому вопросу разговаривать три дня. По докладу Терещенки уже записалось 27 ораторов. Из них человек 10 — фракционные ораторы, время которых неограничено... С нашей, левой точки зрения все это было не так плохо. При таких условиях предпарламент превратился в политическую трибуну по преимуществу. Но ведь «лойяльные» элементы жаждали «деловой работы», до которой предпарламенту при данных условиях никогда бы не добраться. Надо сказать, что вся оппозиция уже изготовила огромное количество всяких «вопросов», по которым хватило бы чисто политических прений недели на две... «Сеньорен-конвент» постановил принять «решительные меры».

салось. Но когда в Академии вышла заминка под давлением одного консервативного академика, то Кауфман взял на себя риск выставить в печати недоказуемое положение: дело тормозится потому, что книга — социалистическая... Уже во время войны мы по некоторым пунктам находили с ним общий язык и, напр., вместе брезгливо морщились от каннибальских выступлений известного либерального профессора Чупрова-сына, который упивался голодным вымиранием Германии (на столбцах гуманнейших и культурнейших «Русских Ведомостей»)... Припоминаю также, что этот кадет дал одну статью в нашу «Летопись». Но за месяцы революции мне не удалось повидать Кауфмана ни разу. Теперь, столкнувшись с ним в предпарламенте, я радостно бросился к нему. Но он окатил меня ледяной водой, заявив прямо, со свойственной ему искренностью, что «при теперешней моей роли» он совершенно не разделяет выраженных мной чувств и не склонен продолжать со мной беседу. Совершенно обескураженный я пробормотал, что моих чувств это все же изменить не может, и затем уже старался избегать Кауфмана в Мариинском дворце... Впоследствии, не в пример другим, Кауфман, оставаясь профессором, оказывал не малые услуги в сфере статистики и «большевистскому» государству. Но мне, к великому моему огорчению, уже не пришлось встретиться с ним до самой его смерти.

Во фракциях же шли разговоры о вчерашнем выступлении Терещенки. У меньшевиков-интернационалистов по существу его не было двух мнений. Вопрос был в том, какие сделать выводы? До резолюции было еще очень далеко, и мы ею пока не занимались. Надо было только наметить ораторов и общее содержание официальной речи. От имени фракции, по предложению Мартова, на трибуну был командирован Лапинский. Затем должны были записаться Мартов и я. Но надежды получить слово, в виду мероприятий сеньорен-конвента, было мало.

Я настаивал на одном центральном положении официальной речи: дело мира неотложно, но ни Терещенко, ни вся коалиция к нему неспособны; насущные интересы страны требуют немедленной ликвидации существующей власти... Мне отвечали уклончиво: конечно, необходимо сделать все, чтобы в этом не оставалось сомнений... Я был совершенно не удовлетворен и был обозлен этим. Но Мартов, видимо, держал курс на «контакт» с соседями, с Либером и Даном. Как будто он был склонен к компромиссу ради образования левого блока.

У соседей же, официальных меньшевиков, настроение было действительно недурное. Терещенко взорвал не мало колеблющихся элементов и усилил левое крыло, где действовали — Горев, полу-интернационалист Абрамович и завтрашний большевик Элиава. Официальным оратором был избран довольно твердо настроенный Дан...

Я не знаю, что происходило у эсеров. Левые, конечно, выставили соответственного непримиримого оратора. Но как-будто бы и остальным Терещенко дал щелчок справа, заставив их отшатнуться влево.

Официальным эсеровским оратором был избран выразитель недавнего меньшинства, Чернов.

А вечером состоялось соединенное заседание двух комиссий: по обороне и по внешней политике. Заседание было очень сенсационным. О нем говорили заранее. На нем открывались важнейшие государственные тайны, и потому вход был воспрещен даже членам предпарламента... В заседании должны были выступать Верховский и Терещенко.

Часам к девяти члены двух комиссий наполнили обширный кабинет дворца — тот самый, где некогда заседала «контактная комиссия»... Военный министр сделал в общем тот же доклад, который он месяц тому назад делал в Смольном; но, во-первых, прошел месяц, во-вторых, сейчас доклад делался не в «частном», а в высоком государственном учреждении и притом — крайне конспиративно; и Верховский сильно обострил свои выводы. Он заявил прямо, что немедленный мир необходим во избежание страшной катастрофы на фронте.

Терещенко, с своей стороны, ограничился высокопарными дипломатическими пустяками. Но оскорбленный в своих лучших чувствах он, вместе с правой частью собрания, в качестве министра, в самых не-дипломатических тонах, набросился на Верховского. Заявлял ли военный министр что-либо подобное в совете министров? Нет, не заявлял! Какое право он имеет выступать с подобным докладом в комиссии не-правомочного учреждения?..

Однако, расходившегося министра постарались ввести в рамки. Вся эта формалистика — дело второстепенное и нас мало касающееся. Не угодно ли об'ясниться по существу. Что намерено предпринять дипломатическое ведомство при данных условиях,

описанных столь компетентным и официальным лицом?.. Терещенко, не владея собой, отвечал с большой наглостью. Резкое столкновение у него вышло с Даном. Вот тут то Терещенко и удружил старому другу Церетели, разоблачив его нашептывания насчет отсрочки союзной конференции... Вскоре Терещенко совсем вышел из себя и ушел из заседания. Это уже был скандал.

Собрание, кажется, кончилось ничем, среди волнения и беспорядка. На предпарламентских «демократов» все это произвело удручающее впечатление. Так нельзя!.. Но не в лучших настроениях были и кадеты. В самом деле — что же это происходит? В недрах коалиции сидит большевик и взрывает основное дело государства. Внутри общенационального правительства столкнулись «два мировоззрения». Такая коалиция вредна и невозможна. Терпеть это нельзя ни одного дня. Либо государственность, либо капитуляция перед большевиками. Либо оборона, либо сдача на милость Вильгельма. Либо Терещенко, либо Верховский... А вообще развал и чорт знает что такое! Так думали и ворчали депутаты, расходясь в разные стороны холодной осенней ночью, по мокрым полутемным улицам столицы.

Что же касается Верховского, то он действительно до сих пор не выступал со своими «идеями» во Вр. Правительстве. Но эти идеи сидели в нем твердо. И со свойственной ему энергией он старался пустить их в оборот и достигнуть целей... Набоков рассказывает в своих воспоминаниях, как Верховский обращался к кадетскому центральному комитету, желая его с'агитировать по части прекращения войны. В квартире Набокова состоялся, несколькими днями раньше, все тот же доклад Верховского пе-

ред кадетскими лидерами. Судя по Набокову, возразить против фактов слушатели ничего не умели; как вести при данных условиях войну, — не указали; но неприличные речи встретили с недоумением. Верховский «не встретил сочувствия» и уехал ни с чем.

Затем военный министр пытался войти в такой же приватный контакт и с лидерами демократии. В один из этих дней он пригласил представителей социалистических партий на совещание. По поручению своей фракции я отправился в военное министерство, на Мойку, где некогда нас собирал Гучков. Но заседание тогда не состоялось... Вообще же, все это делает честь энергии и патриотизму Верховского; но привести это ни к чему не могло. Тут нужен был и не тот человек, и не те методы.

* * *

На следующий день, 18-го, с утра голосовалась «формула по обороне». Мы знаем, что это голосование сильно увеличило впечатление правительственного развала. Затем обсуждался «вопрос» нашей фракции насчет земельных комитетов. Защищая его, я воспользовался случаем пройтись насчет «самодержавной власти, присвоенной себе правительством». Авксентьев прервал меня. Но не обвинил меня в «непарламентских выражениях», а вступил в полемику по существу. Слева зашумели, полемика не кончилась удачно для председателя, его позиция не была выигрышной, и лучше бы ему помалкивать.

Но в предпарламенте ожидали больших прений по иностранной политике. Они должны были со-

стояться после перерыва. А во время перерыва, по кулуарам ходил сенсационный слух. Частичный правительственный кризис! Получил отставку Терещенко!.. В Зимнем признали, что его выступления окончательно подорвали возможность создания предпарламентского правительственного большинства. Ожидаются резкие нападки со стороны меньшевиков и эсеров, что совершенно несвоевременно в виду возможного «выступления» большевиков. Решено выдать Терещенко. Вероятно, ему не ехать и на парижскую конференцию.

Так говорили в кулуарах предпарламента. Неизвестно, сколько тут правды и в чем правда. Но ясно: в коалиции-то — неблагополучно, она трещит. Я полагал: надо ударить по ней со всей силой, не стесняясь об'являть ее с трибуны жертвой будущего восстания. Мартов полагал: процесс разложения идет и без того быстро, надо дать возможность меньшевикам и эсерам оформить и осознать свои новые ориентации, не следует пугать большевистской опасностью, чтобы не достигнуть обратных результатов.

Прения по иностранной политике начал Милюков. Его ждали с величайшим любопытством. Как-ни-как, он оставался до сих пор идейным главой всей нашей плутократии... Однако, нельзя сказать, чтобы наша плутократия имела особенно счастливую судьбу. И до известной степени это именно потому, что ей суждено было иметь во главе профессора. Как публичная лекция, речь Милюкова была полна своеобразного интереса. Он и читал ее, как лекцию, не отрывая глаз от лежащей перед ним тетрадки и кладя на строку палец, когда нужно было ответить на возгласы из аудитории... Но как политическая

речь, выступление Милюкова страшно разочаровало. Оно было посвящено, главным образом, «разоблачениям» российского циммервальдизма, «от которого доселе официально не отрекся и Керенский». Профессор мобилизовал тут всю свою ученость. Но это не избавило его от грубых передержек, тут же поставивших его в неловкое положение. Он взялся доказать на основании заграничной литературы, что Мартов призывал солдат уйти из окопов. Но цитат найти никак не мог, несмотря на упорные требования слева. Между тем, с подобными планами окончания войны никогда не выступал даже Ленин.

Но совсем жалкое зрелище получилось тогда, когда оратор перешел к критике наказа Скобелеву. Основные положения и в устах Милюкова были не чем иным, как повторением шаблонной империалистской фразеологии. Но частности! Это было уж свыше меры: Милюков филологически доказывал германское происхождение наказа («приступ» — не русское слово и появилось в результате перевода с немецкого!).

Дерзкого своего преемника, который милюковским добром пытался ему же бить челом, оратор пощипал лишь немного: он был слишком занят левыми. Щипал же он его, помимо очень удачных личных выпадов, — за «официальное лицемерие», за стиль подлаживания к Совету, за умолчание о чести России и за слабую защиту «интересов». Возможно, что Милюков, со своей личной точки зрения был прав в этих упреках. В свое время он показал себя действительно честнее Терещенки, отказавшись сказать то, что он не намерен был сделать. Он и сейчас, несмотря на всю смехотворность этого, несмотря на удручающее несоответствие этого ре-

альным задачам политики, опять выпалил свою «идею» и выговорил всеми словами то, на что «тонко» намекнул Терещенко: Константинополь и проливы — вот «наше национальное дело»! Это, конечно, своего рода честность, недоступная ни Терещенко, ни многим, многим другим. Но — Боже! Какое же употребление из нее могла сделать «нация» или хотя бы сама русская буржуазия? Политически — это было полное банкротство и младенческое неразумие.

Кончил Милюков «почтительным преклонением головы перед доблестными союзниками». В своей тетрадке он написал в их честь довольно красноречивый гимн. Он снова и снова требовал, чтобы революция склонилась перед их принципами, направленными к «осуществлению идеала и к созданию мировой политики, об'единяющей народы в союз, в котором справедливость будет фундаментом, а свобода краеугольным камнем».

Я не выдержал этого:

— Ведь вы же не верите тому, что говорите! — крикнул я в отчаянии от этой беспредельной слепоты.

Обернувшись налево, Милюков приложил руки к груди и ответил тоном, исключавшим фальшь и неискренность:

— Это мое глубокое убеждение, я верил и верю в это!..

Что делать! Тем хуже было для действительного «национального дела». Тем хуже было, есть и будет для самого профессора...

Прения по иностранной политике продолжались и в следующих заседаниях, 20-го и 23-го. Но все же из неофициальных ораторов успел получить слово один

Мартов. Говорили по долгу. Из правых был интересен, как всегда, Петр Струве, выступавший от «общественных деятелей». Политически это было так же убого и гораздо более бессодержательно, чем у Милюкова. Но как литературное произведение человека, привыкшего к интенсивной мысли в кабинете, как profession de foi высоко культурного и талантливого реакционера, — эта речь была замечательна. К нашей внешней политике она не имела слишком большого отношения, и если бы я стал ее цитировать, я отвлекся бы от «темы». Но как не упомянуть о некоторых словечках такого любопытного явления, как Петр Струве!

— В речах Чайковского, Аксельрода, Кусковой было здоровое национальное чувство и здравый государственный смысл. Но почему эти здоровые левые элементы бессильны, и русское государство превратилось в какой-то аукцион, где народная душа предлагается тому, кто, не справляясь ни со своим карманом, ни со своей совестью, готов дать наибольшую цену? Нам этот аукцион внушает отвращение, ибо на нем победа остается за бесстыжими и зычными, которые готовы дать любые векселя, чтобы потом убежать от платежа. Мы живем в каком то сумасшедшем доме, где здоровые, честные и нормальные люди исходят в борьбе с буйными больными, систематически подстрекаемыми к нелепым самоубийственным действиям. Достаточно взять любую вашу газету даже самую левую, чтобы в ней прочитать вопль о том, что разбужена стихия, с которой совладать вы не сможете... Пора понять, что германские с.-д. прежде всего немцы и добрые буржуа. Как немцы, они не будут бунтовать во время войны, а как добрые буржуа, они вообще не способны делать ре-

волюцию. И смею вас уверить, — самый смирный русский кадет гораздо более революционер, чем самый свирепый германский социалдемократ. Европейские социалисты потому ближе русских к социализму, что для того, чтобы стать в массе настоящими социалистами, надо прежде всего стать добрыми буржуа... Что такое большевизм? Это смесь интернационалистического яда с русской сивухой. Этим ужасным пойлом опаивают русский народ несколько неисправимых изуверов, подкрепляемых кучей германских агентов. Давно пора этот ядовитый напиток заключить в банку по всем правилам фармацевтического искусства, поместить на ней мертвую голову и надписать: яд!.. Я ненавижу анархию, но ценою мира, недостойного России, я как русский патриот, не желаю покупать избавления от ненавистной анархии. И как бы нам ни казалась временами непосильной, тяжкой и скорбной борьба с собственным бессилием и малодушием, мы должны выстоять до конца также, как выстояли русские люди в ужасную и в то же время славную эпоху смутного времени...

Пора кончить, как ни хотелось бы продолжать. Все это, конечно, не политика, это — беллетристика. Но надо же нам было хоть чуть-чуть вкусить сокровенных дум и настроений наших буржуазно-интеллигентских верхов, застигнутых великой бурей. Это крошечный кусочек б ы т а революции, которого я совсем не видел и не могу отразить в моих записках.

Но выступление Струве ознаменовалось и колоритным штрихом п о л и т и ч е с к о г о характера. В ответ на чью-то реплику слева, упомянувшую о Корнилове, оратор заявил в упор социалистам:

— Корнилов — это честное имя, и мы готовы положить за него жизнь!

Давно не видевшие живой буржуазии, мы даже несколько опешили от неожиданности. Справа же раздались дружные и громкие рукоплескания... Вот как?.. Я встал со своего места, как бы желая обозреть лагерь мятежников. В ответ поднялся, демонстративно аплодируя, Милюков и крикнул в нашу сторону:

— Да, да, — Корнилов честный человек!

За Милюковым встала целая толпа правых; напротив же выстроились левые; и с минуту — две силы стояли друг против друга, как петухи, готовые броситься в бой... Теперь я лучше понимаю этого рукоплещущего Милюкова, чем понимал тогда. Во-первых, теперь — история, а тогда была публицистика. Во-вторых, я довольно слабо знал тогда внутреннюю сторону корниловского дела и роли отдельных его героев. Сейчас я допускаю для себя возможность присоединиться к этой формуле: если угодно — Корнилов был честный человек.

* * *

Серию левых ораторов начал Дан. Это была великолепная речь, сжатая, яркая, насыщенная фактами, безупречно логичная. Но этого мало: Дан в Мариинском дворце оказался так же далек от Дана в Смольном, как и Либер был здесь далек от старого привычного Либера. Дан произнес чисто интернационалистскую речь — такую, на какие он полгода обрушивался, громя советскую оппозицию. Он мобилизовал огромную долю обычной интернационалистской аргументации.

И крайняя левая дружно аплодировала Дану, хотя, конечно, и не понимала, как при всем этом можно было «поддерживать» и навязывать стране все новые и новые коалиции... Сделав, что было можно, для защиты «наказа», Дан отметил, что замалчивается его центральный пункт: о декларировании союзниками готовности вступить в мирные переговоры, «лишь только все народы, в принципе, откажутся от захватов»... Но — тут Дан поставил точку и поспешил умолкнуть. Из прекрасной аргументации не было сделано настоящих выводов. За миром нас попрежнему отсылали к несчастной парижской конференции. А на конференции мир должен быть достигнут оглашением формулы, решительно ни к чему не обязывающей даже в случае ее принятия. То-есть в конце концов на деле не было сделано ни шагу вперед... На плечах Дана, в его фракции, висел Потресов, который вслед за Струве шамкал, что мы еще не доросли до идеи патриотизма, и — дальше ни с места.

От имени эсеров без конца говорил Чернов. Представитель меньшинства своей фракции — он был связан гораздо больше Дана. На его плечах висело человек шестьдесят Потресовых, не столь культурных и талантливых, не ведающих марксизма, но так же «чувствующих», как думал Потресов. В результате речь Чернова была винегретом из самых пустяковых и не питательных овощей. Ни новой мысли, ни практической программы, ни революционной твердости — тут не было ни тени.

От имени нашей фракции очень интересно говорил Лапинский. Практически он продолжал Дана:

— Наступил тот момент, когда страна должна сказать союзникам, что мы воевать больше не можем,

не должны и не намерены. Теперь, когда страна живет на вулкане, затягивать войну без определенных целей есть величайшее преступление или безумие... Настал момент, когда нужно обратиться к союзникам и потребовать от них согласия на немедленный приступ к мирным переговорам. А, если союзники отвергнут?.. Тогда надо выступить самостоятельно!.. Но ту политику, о которой мы говорим, может вести только подлинное правительство демократии, каким не может быть коалиционное правительство...

Лапинский действительно высказал все те мысли, каких требовал момент. Но как высказал? Высказал — в стиле преподавателя, а не политического борца. Его положения вообще не имеют формы требования. О категоричности же, об ультимативности требований — нет и речи. Это — не борьба, а изложение своей «точки зрения». Промежуточные, меньшевистско-эсеровские группы, к которым должна была по преимуществу апеллировать речь Лапинского, отнюдь не чувствовали себя взятыми на буксир среди начинающейся бури...

Зато после речей левых официальных ораторов вырисовалась перспектива оппозиционного блока. Не было бы поздно с этим кунктаторством, нерешительностью, академичностью! Ведь нас, левых (с эсерами) всего человек 50... Картина была бы иная, если бы налицо были большевики, и в парламентскую борьбу — без парламентского кретинизма, при помощи всех реальных и потенциальных сил — вступил бы сильнейший блок интернационалистов. Промежуточные, несамостоятельные группы, которым волею судеб назначено от века прилепляться к тому сильному, который не от-

талкивает их, — уже давно были бы окончательно оторваны от право-центровых элементов. А коалиция давно не существовала бы.

* * *

Слухи о внутреннем развале коалиции все продолжались и усиливались. 20-го октября они приняли совсем осязательную форму; но вместе с тем и они приняли иное направление, чем прежде. Оказалось, Терещенко остается на своем месте. Довольны им правые или не довольны, но они подняли шум и мобилизовали средства закулисного давления: нельзя из-за недовольства левых отставлять министра на глазах у всей Европы. Ведь это же будет не только опять старая зависимость от безответственных организаций, — это будет демонстрацией фактической ответственности перед предпарламентом!.. Ну, можно ли было Керенскому и его товарищам устоять перед таким аргументом?

Однако, как мы уже знаем, — что-нибудь одно: либо Терещенко, либо Верховский. Оголтелая патриотическая пресса, во главе с Бурцевым, уже несколько дней вопила: долой изменника Верховского! Закулисные «представления» также были, несомненно, крайне внушительны. Устранение Верховского, конечно, не знаменовало собой зависимости нашего неограниченного правительства от кого бы то ни было.

И вот получились достоверные вести: Верховский ушел из кабинета. Мутить Смольный больше некому, вносить разложение в коалицию — тоже, демонстрировать большевизм в правительстве — тоже,

проводить реформу в армии — тоже. Все это ликвидировано.

Все это, конечно, очень огорчило многих промежуточных искренних демократов, но все это было очень благоприятно с точки зрения об'ективной кон'юнктуры, а в частности — с точки зрения растущих парламентских настроений. Процесс оформления непримиримой оппозиции теперь должен обостриться. Как ни как, в глазах многих, Верховский был ныне единственным прикрытием коалиции. И вот он отдан в жертву Терещенке.

Лойяльные элементы начинали терять терпение... И со всех сторон их подстегивали разные факторы. С одной стороны, в Смольном уже собирался с'езд советов. Тут полными хозяевыми были большевики; С'езд, что бы там ни говорить, являлся довольно серьезным фактором, а намерения большевиков... во всяком случае сулили неприятности.

С другой стороны, казачество, привлекавшее к себе взоры уже давно, начало позволять себе полные безобразия: в Калуге 20-го числа казачий отряд осадил местный совет и потребовал сдачи, а когда сдача произошла, все же открыл пальбу и перебил нескольких членов совета. Сегодня Калуга, завтра Полтава, послезавтра Москва...

С третьей стороны, внутреннее разложение коалиции прогрессировало у всех на глазах. Керенский только и делал, что связывал свой рассыпавшийся кабинет, чтобы он продержался до Учредит. Собрания и «не погубил самой идеи коалиции». О Терещенке и Верховском мы знаем. Но неприятности были и с Малянтовичем, который стал неумеренно допускать поблажки сидящим большевикам. Были и с Ливеровским, который еще не мог расхлебать

последствий железнодорожной забастовки. Продолжались и с Никитиным, у которого почтово-телеграфная забастовка была на носу...

Что же это? Так нельзя! Ведь это в глазах рабочих и солдат — явное оправдание большевизма. Да и как справиться с тем же большевизмом при таких условиях?

Лидеры официальных меньшевиков, широко раскинувшихся (от Потресова до Абрамовича) доселе старались наладить лево-центровый блок: отсекая слева мартовцев и левых эсеров, связаться направо — с эсерами, земцами, энесами и кооператорами. Теперь ориентация изменилась. Вместо лево-центрового — Дан хлопотал о левом блоке. Он протягивал руку Мартову. Это значит, что он готов был пожертвовать центровиками и рассчитывал окончательно втянуть эсеров в оппозицию.

* * *

Уже пора было заботиться о резолюции по внешней политике. Наша группа получила от меньшевиков предложение выступить совместно, причем приглашались и все группы, делегированные «демократическим совещанием»... В субботу 21-го октября мы обсуждали это предложение в нашей фракции. Попытка не пытка, но во всяком случае я стоял за полную чистоту и непримиримость нашей позиции. Со мной было около половины членов фракции. Другая половина не то, что бы проповедывала компромисс, но виляла и так, и сяк. Пререкались упорно... Надо было избрать двух делегатов на междуфракционное совещание. Мартов го-

лосовал против меня, а я против Мартова. Избрали Мартова и меня.

Междуфракционное совещание собралось вечером в воскресенье 22-го. Это был день «петербургского совета». Иные оспаривали, говоря, что это день казанской божьей матери. По этому случаю казаки организовали было большой крестный ход. Это грозило некоторыми осложнениями — по некоторым причинам. Так что правительство распорядилось запретить крестный ход... Нет, это, несомненно, был «день петербургского совета».

На совещание пришел и Пешехонов с кем-то от энесов, и Кускова с кем-то от кооператоров. Они в этот день испытали некоторые впечатления. Их речи были довольно расплывчаты и не остры. Не то ораторы были настроены не очень твердо и примирительно, не то их имманентная аргументация разбивалась о более твердые позиции левого центра.

Левый же центр ныне сдвинулся вплоть до отказа от парижской конференции, как от панацеи в деле мира. Он ныне требовал немедленного обращения к союзникам и декларирования ими готовности приступить к мирным переговорам — как только противная сторона, в принципе откажется от аннексий и контрибуций... Наша фракция протестовала против этого предварительного условия и требовала немедленного предложения мирных переговоров всем воюющим государствам.

... Но мы не кончили наших прений. Мы не успели кончить их. Левый центр сползал влево с каждым часом. События тащили за ним и безнадежных промежуточных обывателей, не имевших классового станового хребта. События тащили тех, кто не хотел идти добровольно... Еще немного, и мы

пришли бы тут же, в Мариинском дворце, к концу коалиции.

Но мы не успели кончить наших прений. Мы не успели... Вы не совсем меня понимаете, читатель? Так я постараюсь все об'яснить вам сейчас, — как помню и как знаю.

9 июня — 14 июля 1921.

ОГЛАВЛЕНИЕ.